

РЕННЕЛЬСКОЕ УРОЧИЩЕ · КНИГА ПЕРВАЯ

РЕННЕЛЬСКОЕ УРОЧИЩЕ · КНИГА ПЕРВАЯ



ТАЙНИКОВСКИЙ

Реннельское урочище

Тайниковский
Наследство с когтями

«Тайниковский»

2026

Тайниковский

Наследство с когтями / Тайниковский — «Тайниковский»,
2026 — (Реннельское урочище)

Зоолог Артём Волошин умер, думая о накладной на кормовые смеси, и очнулся в теле молодого барона. Наследство: заповедник магических зверей, четыреста тридцать два золотых долга и двести восемьдесят шесть медяков в кармане. Плюс дракон, который рос бы от золота — но сто лет раздавал его на этот дом и теперь размером с кошку. Через два месяца приедет королевский аудитор и пересчитает виды. Их должно быть шесть. Их четыре.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3	22
Глава 4	32
Глава 5	39
Глава 6	48
Глава 7	58
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Тайниковский

Наследство с когтями

Глава 1

У меня было двести восемьдесят шесть медяков, четыре серебрыка и одна пуговица, которую я по ошибке два раза записал в разные графы.

Пуговицу я вычеркнул. Осталось двести восемьдесят шесть и четыре.

Свеча догорела где-то к четырём утра, я зажёл новую от огарка и обнаружил, что это последняя целая в ящике. Дальше шли обломки. Их я тоже пересчитал и записал: «свечные концы, семнадцать штук, годны». Потому что если ты начал описать, ты её доводишь. Иначе это не описать, а истерика с чернильницей.

Кабинет не топили с зимы. Я сидел в двух рубахах, поверх — стёганный жилет покойного, поверх жнего — плед, который на четвёртом часу перестал греть и начал просто мешать. Пальцы держали перо плохо. Почерк выходил чужой — не мой и не его, а какой-то третий.

Вот это, кстати, было самое паршивое во всей истории.

Не то, что я умер. К этому я как-то очень быстро притерпелся, будто узнал новость про дальнего родственника. И даже не то, что вместо меня теперь двадцатиоднолетний парень с породистым носом и запястьями, которые я мог обхватить одной рукой. А то, что руки помнили не мои движения. Я тянулся за пером — и рука тянулась чуть иначе, чуть красивее, с оттяжкой, как учили. Я вставал — и спина сама выпрямлялась, если в комнате был кто-то посторонний.

Тело было хорошо воспитано. Мне это было незнакомо и неприятно.

* * *

Умер я в среду.

Шёл дождь, я перебежал улицу к остановке, потому что опаздывал на приёмку кормовых смесей, и в голове у меня была накладная. Восемьсот килограммов, два поддона, и я точно знал, что мне опять привезут не ту фракцию, и опять придётся звонить и слушать про «ну это же практически то же самое».

Про то, что было дальше, я помню только звук. Не удар — визг тормозов по мокрому.

И следующее, что я осознавал ясно, — это как я сижу в кресле с высокой спинкой, а передо мной на столе лежат бумаги, и я их читаю. И что самое странное — понимаю. И мне становится так плохо, как за все восемь лет в питомнике не было.

Тобиас дан Реннел, между прочим, тоже умер над этими бумагами. Трое суток просидел, потом слёг с горячкой и через четыре дня отошёл. Ему был двадцать один год. Я в двадцать один заваливал зачёт по гистологии и считал, что у меня трудный период.

Слушайте, у парня в двадцать один год было четыреста тридцать золотых долга и никого живого во всём роду.

Я бы тоже слёг.

* * *

— Мальчик мой, ты бы поел.

Дверь открылась без стука. Её просто толкнули плечом. Я даже не поднял головы, ибо за трое суток уже привык.

Мавра остановилась на пороге и вытерла руки о передник.

— Ты третью ночь над бумагами горбишься. Ты чего вообще там делаешь?

— Считаю, что у меня осталось.

Мавра подошла ближе и заглянула мне через плечо.

— Третью ночь считаешь. Насчитал чего-нибудь путного?

— Насчитал.

Я придвинул к ней четвёртый лист, где было две строки.

Она поставила на край стола миску, накрытую тряпичей, и сдвинула ею мои бумаги. Не спрашивая, просто сдвинула.

Ей было под семьдесят, она была ростом мне по грудь, широкая и твёрдая, как комод, и двигалась по дому так, будто дом принадлежал ей, а я тут снимаю комнату и должен вести себя тихо.

Вообще-то она была права.

Она стянула тряпицу. Каша. Из чего, я предпочитал не уточнять, потому что уточнял позавчера и потом полдня об этом думал.

— Ешь, пока горячее.

— Я не хочу есть, Мавра.

Я отодвинул миску на ладонь.

— Я не спрашивала, хочешь ты или нет.

Она придвинула миску обратно, на прежнее место.

— Господин барон изволят третьи сутки не жрамши. Что я твоей матери на том свете скажу?

— Скажешь, что она была должна четыреста тридцать золотых.

Я всё-таки взял ложку.

Мавра посмотрела на меня.

Знаете, у меня в питомнике была заведующая ветблоком, Тамара Львовна. Тридцать один год стажа. Она умела так посмотреть, что взрослые мужики начинали объяснять, почему у них не заполнен журнал.

Мавра смотрела примерно так же, только с восьмидесятилетним запасом.

— Ты не хами, тебе не идёт. Тобиас хамить не умел, у него уши краснели.

Она отошла к печи и потрогала её ладонью.

Уши, кстати, действительно краснели. Тело сдавало меня с потрохами.

Я отодвинул чернильницу, чтобы освободить ей край стола.

— Мавра, сядь на минуту.

Она не села. Печь была холодная, само собой, и Мавра осталась стоять возле неё, спиной ко мне.

— Я хочу понять одну вещь, — заговорил я ей в спину, разглядывая её прямые плечи. — Ты последняя. Кухарка ушла в марте, конюх в апреле, прачки не было с позапрошлого года. Тебе не платили одиннадцать месяцев. Почему ты здесь?

Молчание.

— Мне идти некуда, вот и весь ответ, — уронила она наконец, всё так же не оборачиваясь. Ровно, без выражения, как называют вес поклажи. — У меня внук. Ему четырнадцать. Куда я с ним пойду, кто нас возьмёт? В городе с внуком не берут, там своих девок хватает. Так что ты, господин барон, не воображай. Я не из любви к твоему роду тут сижу. Я тут, потому что мне сесть больше негде.

Я положил ложку.

— Спасибо тебе.

Она обернулась.

— За что это спасибо? — не поняла Мавра, сдвинув брови.

— За то, что не соврала мне сейчас.

Мавра пожевала губами. Явно хотела ответить что-то ядовитое, но не подобрала.

— Каша стынет, — буркнула она и вышла, притворив за собой дверь плотнее, чем нужно. Каша была, если честно, неплохая.

* * *

К шести я закончил.

Разложил перед собой четыре листа и посмотрел на них, как смотрят на рентген, на котором уже все понятно.

Лист первый. Имущество. Дом на девятнадцать комнат, из них отапливаемых — три, и то если считать кухню, а кухню считать нечестно. Парк. Шесть вольерных дворов. Зимовник. Пруд. Акведук, который обвалился при деде и с тех пор считался «в ремонте». Полторы тысячи десятин земли, официально — заповедное урочище королевской грамоты, продаже, дарению и разделу не подлежит.

Вот эта строчка была единственной хорошей новостью за трое суток.

Земля неотчуждаема. Пока грамота в силе.

Лист второй. Живой инвентарь. Тут я сидел дольше всего, потому что впервые в жизни не мог заполнить графу «численность».

Никто не вёл учёт. Двести лет заповедник, королевская грамота, три поколения смотрителей — и ни одной племенной книги. Записи были: «третьего дня пеплогриву давали свёклу, ел плохо». Всё. Ни даты рождения, ни родословных, ни причин падежа. Ни-че-го.

Я нашёл в шкафу двенадцать таких тетрадей. Двенадцать. За двести лет.

Я сидел и думал: ребята, вы держали единственную в мире популяцию — я даже не знал ещё, чего именно, но точно единственную, и вы записывали, что она плохо ела свёклу.

Меня, честно говоря, потряхивало не от холода.

Лист третий. Долг. Четыреста тридцать два золотых восемнадцать серебряков. Из них двести — закладная у ростовщического дома Кернель, срок вышел в прошлом месяце. Сто десять — недоимка по земельному сбору за три года. Остальное — по мелочи: лекарь, кузнец, зерноторговец, ещё зерноторговец, ещё один, судя по всему, тот же самый, но через подставного, чтобы не позориться перед гильдией.

Лист четвёртый. Тут была одна строка.

«Двести восемьдесят шесть медяков и четыре серебряка».

Я посмотрел на четвёртый лист. Потом на третий. Потом опять на четвёртый.

Потом взял перо и внизу приписал: «Пуговица».

Пусть будет. Чем богаты.

* * *

Обход я начал в семь, когда рассвело настолько, что можно было не брать фонарь.

Урочище утром выглядело почти прилично. Туман сглаживал провалы в крыше зимовника, скрывал заросшие дорожки и делал вид, что парк — это парк, а не двадцать лет неухоженного самосева. Пахло мокрой землёй, прелым листом и еще одним знакомым запахом. Так пахнет, когда вольер чистят раз в неделю вместо раза в день.

У ворот второго двора меня ждал Гуш.

Гуш — это два метра, покатые плечи, серо-зелёная кожа и лицо, по которому невозможно прочитать вообще ничего. Полутроль. В Урочище семь лет. Ушёл с каменоломни, где, по слухам, кому-то что-то сломал, но слухи в изложении Мавры я делил на четыре.

— Господин.

Он остался стоять, где стоял.

— Доброе утро, Гуш. Открывай, посмотрим двор.

Я взялся за створку сам.

Он не двинулся.

Я отпустил створку.

— Что-то не так?

— Пеплогрив ночью беспокоился.

Гуш смотрел куда-то поверх моего плеча.

— Насколько сильно беспокоился?

— Ходил, — обронил он и умолк.

Я подождал. Продолжения не было. За три дня я уже понял, что Гуш выдаёт информацию порциями и торопить его бесполезно. Он от этого не ускоряется, а замолкает.

Я шагнул ближе.

— Ходил как именно? По кругу, по прямой, от кормушки к воде и обратно?

Гуш посмотрел на меня. Впервые за три дня — прямо.

— По прямой, — выговорил он и показал ладонью короткий отрезок. — Двенадцать раз. К углу и назад.

— К какому именно углу он ходил?

— К северному.

Гуш повернулся в ту сторону.

— Там раньше корыто стояло.

— А сейчас что там стоит?

Я уже понимал ответ.

— Пим его переставил, — отозвался он. — Мыл.

Я закрыл глаза.

— Гуш, скажи мне одну вещь. Пеплогрив слепой? — выговорил я, не открывая глаз.

Пауза.

— Восемь лет как ослеп, — подтвердил Гуш и переступил с ноги на ногу.

Вот теперь я знал про этот заповедник всё, что нужно.

* * *

Двор был большой, полторы сотни шагов в поперечнике, и посреди него стояла туша.

Иначе не скажешь. Туша с телегу размером, покрытая слоистой серо-пепельной шкурой, с валиками жира на загривке и с мордой, похожей на утюг. Пеплогрив — так его называли, и я даже не пытался пока понять, вид это или прозвище конкретного животного. Он стоял мордой в северный угол и переминался.

Просто переминался. Взад-вперёд, десять сантиметров вперёд, десять назад.

Слепое стереотипное поведение. Я такое видел у медведицы, которую двенадцать лет продержали в бетонном загоне, и потом полтора года мы её вытаскивали, и не вытащили.

— Где сейчас это корыто?

Гуш молча пошёл к сараю. Вернулся, неся деревянную колоду литров на двести, при этом он нёс её один, как ведро.

Я отступил, чтобы не мешать.

— Ставь его ровно туда, где стояло. Не примерно. Точно.

Он поставил.

— Не туда, левее.

Я присел и показал ему борозду в земле.

— Вот этот след — от него. Он подходил с этой стороны. Сдвинь на ладонь.

Гуш сдвинул.

И вот тут это со мной случилось в первый раз по-настоящему.

Я стоял в двадцати шагах, смотрел на слепую тушу, и вдруг — не увидел, не услышал, а как будто почувствовал в груди что-то чужое.

Растерянность. Голая, тупая, огромная. Мира нет. Мир был выучен наизусть, тридцать четыре шага до воды, двадцать один до стены, а теперь мира больше нет, кто-то его отменил, и теперь надо стоять, потому что если пойдёшь, то там пусто, а если пусто, то...

Я сел на землю.

Не картинно упал, а просто ноги перестали держать, и я плюхнулся в мокрую траву, а в горле начало першить.

— Господин, вам плохо? — беспокоился Гуш, шагнув ко мне.

Я упёрся ладонью в мокрую траву.

— Погоди немного, сейчас пройдёт.

— У вас кровь идёт, — сообщил он и протянул мне обрывок холстины.

Я вытер нос рукавом, холстину не взяв. На рукаве остался кровавый след.

— Это нормально, не пугайся.

Ничего это не было нормально. Но это была вторая вещь, которую я про себя понял за трое суток. Первая: я в чужом теле в чужом мире. Вторая: у этого тела есть что-то, чего у меня раньше не было, и оно включалось само, без спроса, и от него шла носом кровь.

Пеплогрив тем временем повёл башкой.

Потянул воздух. Сделал шаг. Ещё шаг. Ткнулся мордой в колоду — и с грохотом начал пить.

Пил долго. Минуты три.

Гуш смотрел на пьющую тушу.

— Три дня не пил, выходит.

— Выходит, что три.

Я поднялся с земли.

— Я не догадался, — признал он.

— Ты не обязан был догадаться, — возразил я и отряхнул колени. — Догадаться должен был тот, кто ведёт журнал. Журнала нет. Значит, догадаться было некому.

Гуш помолчал.

— Журнал теперь будет? — поинтересовался он, впервые повернувшись ко мне всем корпусом.

Я поднялся, вытер ладони о штаны и посмотрел на этот двор. На проплешины. На корыто. На слепую тушу, которая пила воду, потому что кто-то наконец поставил колоду на прежнее место.

— Будет, с сегодняшнего дня, — пообещал я и записал первую строку прямо на обороте вчерашней описи.

* * *

Пима я нашёл на четвёртом дворе, где он сидел на перевёрнутом ведре с видом человека, который уже всё про свою жизнь понял.

Четырнадцать лет, руки-жерди, шея, из которой торчат ключицы, и рыжина, доставшаяся явно не от Мавры.

— Это ты вчера корыто мыл? — начал я, останавливаясь над ним.

Пим на всякий случай встал с ведра.

— Я его мыл.

— А зачем ты его мыл?

— Так грязное же было! — выпалил он, отступая на полшага.

— Правильно сделал.

Пим поднял голову. Он явно готовился к другому.

— Правильно, что грязное мыть надо, — повторил я и кивнул в сторону второго двора. — Неправильно, что ты не вернул его на место. Он слепой. Он мир помнит наизусть. Ты переставил корыто, а он три дня не пил.

Пим побледнел так, что веснушки стали отдельно.

— Я про это не знал, честное слово.

— Знаю, что не знал, потому и объясняю.

Я сел рядом с ним на землю, потому что стоять над ребёнком и объяснять — это не разговор, это выволочка.

— Пим, слушай сюда. У меня к тебе просьба, и она серьёзная, ты не отмахивайся. Я не всё успею увидеть. Тут шесть дворов, я один и у меня в голове ноль. Если ты что-то заметил —

что зверь не так пошёл, не так лёг, не так поел, — ты мне говоришь. Немедленно. Даже если тебе кажется, что ерунда. Даже если ты сам напортачил. Особенно если ты сам напортачил.

Пим ковырял носком сапога землю.

— А ругать за это не будете?

— Буду ругать, не обольщайся, — признал я, не отводя взгляда. — Но за то, что промолчал, буду ругать сильно хуже.

Он подумал.

— А если я вам скажу, что в прошлом месяце разбил окно в зимовнике и свалил на ветер? — выговорил он наконец.

— Вот с этого мы и начнём, — решил я, поднимаясь и отряхивая штаны. — Пошли смотреть, что там с окном.

* * *

Гонец приехал в полдень.

Верхом, в мокром плаще, с сумкой на боку, и по тому, как он держался, я сразу понял: не с добром. Люди, которые везут хорошее, слезают с лошади иначе.

— Барон дан Реннел? — уточнил он, не слезая с седла.

— Он самый.

Я вышел из-под навеса ему навстречу.

Он протянул мне трубку, запечатанную зелёным. Я расписался — рука вывела подпись Тобиаса раньше, чем я успел подумать, как она выглядит.

Я разглядывал печать.

— Ответа дожидаться будете?

— Ответ тут не предусмотрен, — отозвался гонец и уже разбирал поводья. — Это извещение, — добавил он и уехал.

Я сломал печать прямо во дворе, потому что ждать до кабинета было выше моих сил.

Извещение было составлено красиво. Я даже позавидовал — у нас в питомнике так писать не умели.

Купеческий консорциум «Солнечный Кряж», в лице поверенного, уведомляет барона Тобиаса дан Реннела о выкупе долговых обязательств последнего у ростовщического дома Кернелъ, а равно и о намерении в трёхмесячный срок инициировать пересмотр королевской грамоты на предмет соответствия Реннельского Урочища заявленному в грамоте назначению.

Дальше шло приложение. Опись. С цифрами.

Их опись.

По их сведениям, в Урочище на текущий момент содержалось девять видов из одиннадцати заявленных в грамоте. Из них четыре — единичными особями. Двух видов не было вовсе.

Я стоял посреди двора с бумагой в руках, и до меня медленно доходило.

Они знали численность.

Я, хозяин, три ночи считал свечные огарки и не мог заполнить графу. А они знали.

Мавра стояла на крыльце и вытирала руки о передник.

— Мальчик мой, что там за бумага? Чего пишут-то?

— Пишут, что мы плохо соответствуем.

Она спустилась на ступеньку ниже.

— Кому это мы не соответствуем?

— Самим себе, Мавра.

Я сложил извещение вчетверо и убрал во внутренний карман. Интуиция меня внов не подвела...

* * *

Он пришёл ночью.

Я снова сидел в кабинете и вновь с последней свечой, а на столе передо мной лежало извещение и рядом мой четвёртый лист, где двести восемьдесят шесть медяков и пуговица.

Сначала я услышал звук. Не шаги — цоканье, как будто по коридору идёт крупная собака с плохо стриженными когтями. Потом дверь толкнули снизу.

В кабинет вошёл дракон.

Он был с хорошую верховую лошадь, только приземистее, и шёл так, как ходят звери, которые точно знают, что помещение принадлежит им. Чешуя тускло-медная, местами вытертая до серого, как старый чайник. Один рог обломан. Морда длинная, и на этой морде совершенно отчётливо читалось выражение.

Выражение было такое: ну и что тут у нас за цирк.

Он подошёл к столу. Посмотрел на бумаги. Посмотрел на меня.

Три ночи, — сказал голос у меня в голове. Сухой, скрипучий, с интонацией пожилого бухгалтера, у которого опять принесли документы не в том порядке. — *Три ночи он считает. Реннел, у тебя в верхнем ящике второго шкафа лежит приходная книга за последние сорок лет. Постатейно. С разбивкой по кварталам.*

Я, надо отдать себе должное, не заорал.

Я вообще ничего не сделал. Просто сидел.

Молчит, — констатировал дракон. — *Прекрасно. Реннелы обычно в этом месте начинали визжать. Твой прадед, когда я с ним впервые заговорил, упал с лестницы. С двух ступенек, но с большим чувством.*

— Ты кто вообще такой?

Я не двинулся с места.

Ксаверий Аргентум Третий из Кладки Пепельных Гор, — представился дракон и уселся посреди кабинета, обвив хвостом лапы.

— Ясно, вопросов больше нет, — ответил я и покачал головой.

Дошло до того, что меня уже настоящие драконы не удивляют...

Я зачем-то закрыл чернильницу.

Твоя прабабка звала меня Кешей, — тем временем, добавил дракон, как будто бы невзначай. — *Вернее будет сказать, прабабка того, кому раньше принадлежало это тело, - добавило магическое существо и с интересом уставилось на меня.*

— Я...

— *Мне без разницы*, — не дал мне ничего сказать дракон. — *Возможно, мы когда-нибудь вернемся к этому вопросу но не сейчас*, — произнес тот, кого звали Ксаверий.

Интересный он, однако...

— А почему именно Кешей? — решил поинтересоваться я, дабы продолжить разговор.

Сто десять лет пытаюсь это выяснить, — проворчал дракон и отвернул морду. — *Она умерла, так и не объяснив. Подозреваю, что это была месть.*

Он подошёл ближе, вытянул шею и прочитал извещение. Читал долго, водя мордой по строкам. Потом хмыкнул — прямо в голове, что оказалось довольно неприятным ощущением.

Марвейн, — обронил он и отодвинул мордой верхний лист. — *Значит, всё-таки решились. Я ждал их лет двадцать.*

Я подался вперёд.

— Ты знаешь, зачем им понадобилась эта земля?

Знаю прекрасно, — подтвердил дракон.

— Тогда объясни мне, потому что я не понимаю.

Дракон посмотрел на меня и от его пристального взгляда мне стало немного не по себе.

Сначала поешь, а объясню я потом, — распорядился он. — *Ты сидишь тут третью ночь, у тебя утром шла кровь носом, и если ты сдохнешь так же, как предыдущий, я не стану ждать следующего. Я слишком стар.*

— Со мной сейчас разговаривает дракон, — произнёс я вслух, чтобы проверить, как это звучит, и постучал пальцем по столу. — И он говорит мне, что я плохо питаюсь.

Я говорю тебе, что ты — актив, — сухо поправил Кеша. — Единственный ликвидный актив в этом поместье. И я не намерен его терять из-за того, что он забыл про ужин.

Он развернулся, задев хвостом стул, и пошёл к двери.

На пороге остановился.

И, Реннел. Верхний ящик второго шкафа. Приходная книга. Я вёл её сам, потому что больше никто в этом доме не умел складывать.

— Кеша, погоди минуту, — окликнул я его в спину.

Он замер. Медленно повернул голову.

Не смей меня так называть, — предупредил дракон, и голос в голове сделался холоднее.
Довольно странное чувство, к слову.

Я поднялся из-за стола.

— Извини, я оговорился. Ксаверий, сколько всего было видов, когда ты сюда пришёл?

Дракон помолчал.

Одиннадцать, — отозвался он с порога, не оборачиваясь. — Все одиннадцать.

Глава 2

Приходная книга лежала в верхнем ящике второго шкафа, ровно там, где было сказано, и я потратил полторы минуты на то, чтобы её оттуда достать, потому что ящик разбух и не шёл.

Это была не книга. Это были четыре книги, сшитые в одну колоду, толщиной с кирпич, в переплёте из телячьей кожи, вытертом до белизны на углах.

Я открыл наугад в середине.

И минут пять просто смотрел.

Ровные столбцы. Дата, статья, приход, расход, остаток. Почерк мелкий, страшно аккуратный, с одинаковым наклоном на всех четырёх сотнях страниц. Сноски на полях: «уточнить у Веры», «см. л. 214», «недостача, разобрано, стр. ниже». Разбивка по кварталам. Годовые сводки с итогом, подведённым дважды — сверху и снизу, чтобы сойтись.

Я вёл отчётность восемь лет. Я знаю, как выглядит документ, который человек ведёт, потому что заставили, и как выглядит документ, который ведут от всего сердца.

Это был второй вариант.

Я сел и начал читать с начала.

* * *

Читал до полудня.

К полудню я знал про Урочище больше, чем за трое суток описи, и почти всё это мне не нравилось.

Считали здесь так: двенадцать медяков — серебряк, двадцать серебряков — золотой. Итого в золотом двести сорок медяков. У меня, если считать вместе с четырьмя серебряками, было на руках триста тридцать четыре медяка. Один золотой и девяносто четыре медяка. Долг — четыреста тридцать два золотых. Я был должен в четыреста с лишним раз больше, чем имел.

Зато я наконец понял, с чего они вообще жили.

Статья первая — «тропная пошлина». Самая жирная. Восемьдесят, сто, сто двадцать золотых в год. Держалась до сорок седьмого года, потом рухнула вдвое, потом ещё вдвое, и последние девять лет стояла ноль.

Статья вторая — «сбор с посетителей». Это я понял сразу: заповедник пускал публику. Смешные деньги, шесть-восемь золотых в год, но стабильно. Оборвалась четыре года назад.

Статья третья — «поставка алхимическим домам». Шерсть, линька, сброшенный панцирь, помёт (я даже присвистнул от суммы), яд, чешуя, перо. Живые звери, живой сбор, ничего никто не убивал. Тридцать-сорок золотых в год, и это была самая честная строка во всей книге, потому что она падала ровно в том темпе, в котором вымирали виды.

Статья четвёртая — «прочее». Тут был бардак и, судя по всему, стыд.

И расходная часть, от которой у меня заныли зубы. Корма. Ремонт. Жалованье. И раз в несколько лет — крупная сумма без пояснения, просто «внесено», и почерк на этой строке всегда был чуть другой. С более тяжёлым нажимом.

Восемь таких строк за сорок лет. Общей суммой около трёхсот золотых.

Я отметил закладкой и пошёл искать дракона.

* * *

Он обнаружился в оранжерее — единственном месте в Урочище, где ещё было тепло, потому что стекло держало солнце, даже когда половины стекла не было.

Лежал на каменной скамье, свесив хвост, и грелся. С лошадь размером, медно-тусклый, в позе, которую я бы у обычного животного описал как «терморегуляция».

Читал, я полагаю? — осведомился он, не открывая глаз.

— Читал до самого рассвета.

Я сел на край скамьи.

И что же ты вычитал?

Я положил ладонь на раскрытую страницу.

— Про пошлину хочу спросить. Что это вообще такое?

Кеша открыл один глаз. Жёлтый, с горизонтальным зрачком, и на редкость очень осмысленный.

Наконец-то правильный вопрос, — одобрил он и приподнял голову с лап. — *Твой дед три года спрашивал, нельзя ли продать пруд.*

Он поднялся, потянулся всем телом — по-кошачьи, с прогибом, и пошёл к выходу, задев крылом ветки.

Идём. На словах ты не поймёшь, а мне лень объяснять дважды.

* * *

Он привёл меня в дальний конец парка, куда я за три дня так и не добрался.

Там была прогалина. Круглая, шагов сорок в поперечнике, и по краю — камни. Одиннадцать штук, врытые в землю, каждый мне по пояс, гладкие и без надписей.

Два камня светились. Очень слабо, тускло-тёплым, как остывающий уголь под пеплом.

Девять были мёртвыми.

Это тропы, — пояснил Кеша, обходя ближний камень кругом. — *Урочище стоит на перекрёстке. Одиннадцать переходов в иные миры, все обозначены. Дед твоего прадеда получил грамоту не за красивые глаза, а за то, что перекрёсток обнаружили на его земле.*

Я подошёл к ближайшему тёплому камню и положил ладонь. Тёплый. Тепло было ровное, живое, как бок спящей собаки.

— Объясни мне, как они вообще работают, — попросил я дракона, так и не убрав руки с камня.

Тропа держится, пока в Урочище живёт хотя бы один вид оттуда, — принялся объяснять дракон, усаживаясь напротив. — *Зверь это своего рода якорь. Есть якорь — тропа открыта, по ней ходят, за проход платят пошлину, и пошлину эту получает владелец земли. Нет якоря — тропа гаснет. Гаснет насовсем. Разжечь заново нельзя ничем, кроме как привести оттуда живое.*

Я стоял с ладонью на камне и медленно переваривал услышанное.

Я обвёл взглядом прогалину.

— Значит, из одиннадцати камней девять уже погасли.

Восемь погасли при твоём прадеде и дед, — уточнил Кеша. — *Один — четыре года назад.*

— А этот последний который?

Я шагнул вдоль кольца.

Кеша повёл мордой в сторону крайнего левого камня.

Кисейницы там. Их было шесть. Осталась одна, она бесплодна, и тропа не считает её якорем, потому что вид, который не даёт потомства, для тропы уже мёртв.

Я вспомнил цифры. Пошлина рухнула вдвое, потом ещё вдвое, потом в ноль. Ровно в такт.

Я повернулся к нему.

— Ксаверий, у меня к тебе ещё один вопрос.

Слушаю тебя внимательно, — отозвался дракон.

— В книге восемь строк «внесено» без всякого пояснения. Триста золотых за сорок лет.

Я смотрел ему прямо в морду.

Дракон молчал долго.

Это совершенно неважно, — уронил он наконец и отвернулся.

— Это треть всех расходов на корма за тот же срок.

Это. Неважно.

Тон был такой, что я не стал спрашивать дальше.
Пока не стал...

* * *

Когда мы вернулись к дому, я сел на нижнюю ступеньку.

— Теперь рассказывай про Марвейнов.

Теперь про Марвейнов, — согласился Кеша и уселся на крыльцо, обвив хвостом лапы. — Скажи мне, Реннел, зачем купеческому консорциуму земля, которая не отчуждается по королевской грамоте, лежит в трёх днях пути от ближайшего приличного города и на четверть состоит из болота?

— Затем, что она перекрёсток, тут и думать нечего.

Хорошо, продолжай мысль, — подбодрил он.

— А дальше я не понимаю. Грамота запрещает продажу. Значит, купить они её не могут. Совершенно верно, — подтвердил дракон.

Я поднял на него голову.

— Тогда они хотят убрать саму грамоту.

Тоже верно, и в извещении так и написано, ты не сделал открытия, — он зевнул, показав очень много зубов, и я подумал, что для существа, живущего на подаяние, он держится с редким нахальством. — Вопрос в другом. Грамота даётся под назначение. Назначение — содержание заповедного собрания. Собрание считается существующим, пока в нём наличествует... сколько видов, как ты думаешь?

— Одиннадцать, надо полагать?

Шесть, а не одиннадцать, — поправил Кеша и постучал когтем по доске крыльца. — Треть с округлением вверх плюс один. Формулировка отвратительная, я её наизусть помню, потому что она угробила три поколения твоей семьи. У тебя сейчас девять видов. Из них четыре — единичными особями. Особь без пары видом не считается.

Я посчитал.

Девять минус четыре — пять.

Пять — это меньше шести.

Я выпрямился.

— погоди, я хочу это проговорить вслух. То есть по формальному счёту грамота уже недействительна?

Уже полтора года как, — подтвердил дракон и лениво повёл хвостом. — Просто никто не приезжал считать.

— А теперь, значит, приедут, — договорил я за него.

Приедет королевский аудитор. В извещении срок — три месяца. Значит, приедет через два с половиной, потому что аудиторы любят приезжать раньше.

— И насчитает наши пять.

Я растёр ладонью лоб.

И насчитает ровно пять, — подтвердил Кеша. — После чего грамота будет пересмотрена, земля перейдёт в свободный оборот, и её купит человек, который эти три месяца ждал с готовыми деньгами.

Мы посидели.

Я поднялся со ступеньки.

— Ксаверий, скажи мне одну вещь.

Спрашивай, пока я в настроении, — разрешил он.

— Что они будут делать с перекрёстком?

А вот это, — медленно произнёс дракон, вытянув шею. — Единственный вопрос, на который у меня нет ответа. И он мне не нравится больше всего остального.

* * *

Обедать я сел в кухне, потому что в столовой было холодно, а в кухне Мавра.

— Ешь давай, остынет, — велела Мавра, ставя передо мной миску.

— Я ем, между прочим.

В доказательство я зачерпнул ложкой.

— Не ешь ты, а ковыряешься, — не согласилась она и села напротив, подперев щеку. —

Ну и чего ты там нашёл?

— С чего ты взяла, что я что-то нашёл?

— Ты с полудня ходишь такой, будто тебе на голову ведро надели, — пояснила Мавра, не сводя с меня глаз. — Значит, узнал чего-то. Рассказывай.

Я подумал, стоит ли. И понял, что скрывать бессмысленно: она в этом доме дольше меня раз в двадцать, и, судя по всему, узнаёт новости раньше, чем они случаются.

Я отложил ложку.

— Нас будут пересчитывать. Через два-три месяца приедет королевский аудитор и посчитает виды. Их должно быть шесть. У нас пять.

Мавра не охнула. Не всплеснула руками. Она аккуратно поправила солонку и спросила:

— А если их всё-таки шесть будет? — уточнила она, разглаживая скатерть ладонью.

— Тогда грамота остаётся в силе, и землю не тронут, — объяснил я.

— Значит, надо, чтоб было шесть, — заключила Мавра и хлопнула ладонью по столу.

— Мавра, шестой вид надо откуда-то взять.

— Ну так пойди и возьми, — распорядилась она, забирая у меня пустую миску.

Вот в этом вся Мавра. Ей семьдесят с чем-то, у неё на руках внук и хозяин с четырьмястами золотых долга, а она разговаривает так, будто речь о том, что кончилась соль.

Я отодвинул опустевшую миску.

— Да негде его взять, Мавра. Виды-то из других миров, идти надо туда.

— Так и иди туда, чего расселся, — распорядилась она.

— На это нужны деньги. У меня один золотой девяносто четыре.

— А, ну это да, это плохо, — признала Мавра и поджала губы.

Она встала, ушла к печи и загремела там чем-то.

— Ты вина в погребе не считал ещё? — поинтересовалась она оттуда очень будничным голосом, гремя заслонкой.

— Считал позавчера, вместе со всем прочим.

— И чего же ты там насчитал? — уточнила Мавра, не оборачиваясь.

— Одиннадцать бутылок насчитал.

Я смотрел ей в спину.

— Одиннадцать, ровно одиннадцать, как есть, — подтвердила она и переставила чугунок с места на место.

В описи, которую я делал позавчера, стояло четырнадцать.

Я открыл рот. Потом посмотрел на её спину — очень прямую, очень занятую печью спину — и закрыл.

— Одиннадцать, значит.

Я вычеркнул в описи прежнюю цифру.

— Вот и я про то же говорю, — одобрила Мавра и наконец обернулась.

* * *

Илария тен Овеск приехала в четвёртом часу, когда я был на третьем дворе и по локоть в мунликах.

Про мунликов надо сказать отдельно.

Это лисы. Вернее будет сказать, формально это лисы, да: та же стать, тот же хвост, та же наглая морда. Только шерсть у них по краю светится в темноте бледно-зелёным, а днём просто

отливает, как будто по ней провели маслом. Их в Урочище одиннадцать штук, живут стаей во втором и третьем дворе, и главная их характеристика — они все таскают.

Всё блестящее. Всё. За три дня у меня пропали: ложка, вторая ложка, пряжка, две монеты из тех самых двухсот восьмидесяти шести, чернильница (пустая, слава богам) и почему-то куриное яйцо, которое не блестит вообще ничем.

Я как раз лез в нору под корнем вяза, куда, по данным Пима, всё это уносилось, когда за спиной раздался женский голос:

— Вы не туда лезете, там пусто.

Я обернулся. И треснулся затылком о корень.

Девушка стояла шагах в десяти, держа под уздцы очень грустную серую лошадь. Лет двадцати пяти. Дорожный плащ, заляпанный по подолу, волосы убраны в тугий хвостик на затылке, и через плечо сумка, из которой торчали ручки инструментов.

— Здравствуйте, я вас не заметил.

Затылок я придерживал ладонью.

— Вы не туда лезете, — повторила она и кивнула на вяз. — Это отнорок. Основная кладовая с той стороны, под камнем. Они всегда роют два входа: один для ходьбы, второй чтобы вы искали.

Я выбрался наружу.

— А вы, простите, кто такая будете?

— Илария тен Овеск, с соседнего надела, — представилась она и достала из сумки сложенный лист. — Ваш зверодоктор.

— В каком смысле мой?

Я принял бумагу.

— В самом прямом, уже восемь лет, — пояснила Илария и отпустила повод.

Я вылез, отряхнулся и взял лист.

Это был счёт.

Очень подробный счёт. С датами, наименованиями, суммами, с отдельной графой «расходные снадобья» и отдельной — «выезд». Итого внизу: девятнадцать золотых четырнадцать серебряков.

Я смотрел на этот счёт и думал только одно: господи, наконец-то хоть кто-то в этом хозяйстве умеет вести документы.

Я ткнул пальцем в строку.

— Вот тут у вас, за третье число. «Пеплогрив, промывание, повторно». Почему повторно?

Илария моргнула.

Она явно готовилась к другому. Судя по тому, как она держала спину и как заранее задрала подбородок, готовилась она к тому, что я буду выкручиваться.

— Потому что первое не помогло, — пояснила она, шагнув ближе. — Я пришла на другой день.

— Второй выезд в счёт у вас не поставлен.

— Не поставлен, вы верно смотрите, — подтвердила Илария.

— А почему не поставлен? — не отставал я.

— Потому что если первое не помогло, это моя работа, а не ваши деньги, — отрезала она и забрала у меня счёт обратно. — Барон дан Реннел, я приехала не обсуждать методику. Я приехала за деньгами.

— Денег у меня нет, ни медяка.

Илария кивнула. Не удивилась ни капли.

— Я примерно так и думала, — отозвалась она.

— Тогда зачем вы вообще приехали?

— Затем, что теперь могу честно сказать: предъявила счёт и получила отказ, — объяснила Илария и свернула повод на руке. — Всего вам доброго.

И пошла к лошади.

— Илария, погодите минуту.

Она не остановилась.

— Тен Овеск, у меня кисейница!

Я шагнул следом и на этих моих словах она остановилась.

* * *

Кисейница сидела в отдельном закутке пятого двора, и я в первый раз её увидел только утром, потому что закуток был за стеной и я его сначала принял за дровяник.

Размером с гуся. Тело как у стрижа, а крылья — то, из-за чего это птица получила такое название: тонкие, полупрозрачные, с рисунком, похожим на морозный узор. Только сложены они были неправильно. Правое прижато к телу нормально, левое отставлено и чуть провисало.

Она не летала. Она ходила по земле, переваливаясь, и было в этом что-то невыносимое.

— Ей девятнадцать лет, — начала Илария, присев на корточки у решётки. — Последняя. Остальные пять умерли за четыре года, одна за другой, и я не смогла понять почему. Скажу честно, потому что вы всё равно узнаете: я не смогла.

— А бесплодна она давно?

Взгляда от птицы я не отрывал.

— По записям выходит, что всегда, — отозвалась Илария. — Три кладки, все пустые. Ваш дед пробовал спарить её с самцом, самец умер через полгода после последней попытки.

Я смотрел на левое крыло.

Я присел рядом.

— Она давно его так держит?

— Держит как именно? — не поняла Илария.

— Отставленным, не прижимает к телу.

Я показал ладонью угол.

Илария посмотрела на птицу. Потом на меня. Потом снова на птицу, и я увидел, как у неё меняется лицо: она смотрела на это животное восемь лет и сейчас впервые смотрела на угол крыла.

— Не знаю, если честно, — выговорила она медленно. — Всегда, наверное.

Я взялся за створку.

— Пустите меня к ней внутрь.

— Она вас не подпустит, она никого не подпускает, кроме... — начала Илария и осеклась, ибо я уже был внутри.

И вот тут оно опять включилось.

Не так, как с пеплогривом, — там был обвал, огромный и тупой. Здесь было совершенно по-другому. Как игла под ноготь, ровная, привычная, такая, с которой живут годами и перестают замечать.

Сустав. Основание крыла. Не рана, не перелом — застарелое, выросшее, каждое движение с зацепом, и поэтому не двигаться, поэтому держать отставленным, поэтому не летать. Девятнадцать лет.

И под этим, глубже — не боль, а что-то, для чего у меня не было слова.

Я сел на землю в двух шагах от птицы. Не потому, что так надо. Ноги опять не удержали.

Кисейница подошла сама.

Она смотрела на меня чёрным круглым глазом, и я слышал — именно слышал, не думал, — как ей паршиво, и как она к этому притерпелась, и как в ней при этом всё ещё что-то ждёт. И это ожидание её и держало.

— Не двигайтесь, прошу вас, — выдохнула Илария очень тихо от решётки.

— Постараюсь не шевелиться.

Осторожно, двумя пальцами, я тронул основание левого крыла.

Птица дёрнулась. Но не ушла.

Под пером был бугор. Плотный, размером с фалангу, тёплый.

— Илария, это никакое не бесплодие.

— В каком смысле не бесплодие? — не поняла она и подалась к решётке.

— Три пустые кладки за девятнадцать лет. Самец умер. Крыло у неё не работает, — я осторожно убрал руку и отодвинулся. — Вопрос. Как эти птицы спариваются?

Она несколько секунд молчала, а потом произнесла:

— Они спариваются в полёте, — выговорила Илария и медленно опустила на корточки.

— Вот именно поэтому.

Я убрал руку, а затем вышел из закутка, притворил решётку и сел на бревно, потому что стоять было пока рано. Нос опять начал кровить.

Илария смотрела на меня очень внимательно.

— У вас кровь идёт, — заметила она.

— Знаю, что идёт, не обращайтесь внимания.

Я вытер лицо рукавом.

— Барон дан Реннел, послушайте меня, — начала Илария.

Я поднялся с земли.

— Зовите меня Тобиасом. У нас впереди месяца три очень неприятной жизни, и я не выдержу три месяца «барона дан Реннела».

Девушка пропустила это мимо ушей. Она стояла и, было видно, пересчитывала в голове девятнадцать лет.

— А я работала с ней восемь лет, — выговорила она наконец, глядя мимо меня. — Я всё это время лечила ей желудок. Потому что она плохо ела. А она плохо ела, потому что...

— Потому что животному с хронической болью не до еды.

— Именно поэтому и плохо ела.

— Илария, это не упрёк вам.

— Я знаю, что не упрёк, — огрызнулась она и отвернулась. — От этого мне не легче.

* * *

Мы сидели на бревне до сумерек.

Она достала из сумки записи — свои, не хозяйские, и они были такие же аккуратные, как счёт: даты, вес, аппетит, стул, что давала, что помогло. Восемь лет наблюдений. Я сидел и читал их с тем же чувством, с каким читал приходную книгу.

В этом хозяйстве, оказывается, было двое, кто вёл документы. Дракон и соседка.

— Убрать нарост можно?

— Не знаю. Он старый. Если это сустав — там всё срослось. Резать придётся вслепую, я такого не делала.

— Я делал. Дважды. Один раз получилось.

— А второй?

— А второй умер у меня на столе.

Взгляда я не отвёл.

Илария посмотрела на меня.

— Вы это очень спокойно говорите.

— Я говорю спокойно, потому что иначе перестану оперировать вообще.

Я положил ладони на колени.

— А тогда умрут все, а не один.

Она помолчала.

— Тобиас, — повторила она, будто пробуя слово на зуб, и подобрала под себя ноги. — Даже если получится. Даже если она полетит. Самца нет. Вид всё равно кончится на ней.

— Я это прекрасно понимаю.

— Тогда зачем вы вообще за это беретесь?

Хороший вопрос. У меня на него не было красивого ответа, и я дал некрасивый:

— Затем, что у неё девятнадцать лет болит крыло.

Илария встала. Отряхнула плащ. Снова свернула повод на руке — я заметил, что она делает это, когда о чём-то задумывается.

— С вас девятнадцать золотых четырнадцать серебряков, — напомнила она, отряхивая плащ.

— У меня их нет.

— Я знаю, что у вас их нет, я вам это уже говорила, — девушка вздохнула. — Отсрочка. До зимы. Но я хочу договор, письменный, с долей: если Урочище начнёт зарабатывать, я получаю восьмую часть с алхимической поставки, пока долг не покроется вдвое.

— Почему именно вдвое?

— Именно вдвое, и не торгуйтесь, — отчеканила она невозмутимо. — Я восемь лет работала за «потом». «Потом» кончилось.

Я подумал.

Восьмая часть — это, по книге, четыре-пять золотых в год в лучшие времена. Долг покроется лет за восемь. Дороже банка. И при этом у меня в хозяйстве появляется единственный зверодоктор в трёх днях пути, привязанный к результату.

— Согласен на ваши условия. Составлю бумагу к завтраму.

Я протянул руку.

— Составите — я перечитаю. Внимательно.

— Не сомневаюсь.

Она уже взялась за седло. И вот тут, не оборачиваясь, обронила:

— Тобиас. Ко мне на той неделе приезжал человек.

— Какой человек?

— Вежливый, — она подтянула подпругу. — Спрашивал, много ли мне должны в Урочище. Я сказала — много. Он предложил выкупить у меня этот долг. Целиком. Прямо там, деньгами, из сумки.

Я встал с бревна.

— Вы не отдали.

— Не отдала, разумеется, — отозвалась Илария, затягивая подпругу. — Хотя, если совсем честно, минуты две думала.

— Почему не отдали?

Она вскочила в седло и посмотрела на меня сверху вниз — усталая, злая, в заляпанном плаще.

— Потому что тогда бы вас пересчитывали люди, которым всё равно, — объяснила она, разбирая поводья. — А мне ещё девятнадцать лет назад было не всё равно, и я, к сожалению, за это время не поумнела, — сказав это Илария тен Овеск уехала.

* * *

Кеша ждал меня на крыльце. Как выяснится позже — он всегда ждал на крыльце, потому что в дом его не пускала Мавра, у которой были свои принципиальные соображения насчёт когтей и полов.

Девятнадцать золотых, — обронил он вместо приветствия и спрыгнул со ступеньки. — *Ты подписал восьмую долю на восемь лет.*

— Подслушивал?

Я дракон. Я не подслушиваю, я присутствую, — он оценивающе повёл башкой. — Плохая сделка.

— Хорошая сделка.

Обоснуй.

— Марвейны предлагали ей наличные за долг. Она отказалась. Теперь у неё доля, а значит, ей выгодно, чтобы мы выжили. Мы только что купили её лояльность в рассрочку и без первого взноса.

Дракон долго молчал.

Твой дед, — заметил он наконец, укладывая хвост кольцом. — В этом месте продал бы пруд.

— Это комплимент?

Это констатация, — Кеша поднялся и пошёл в темноту, к оранжерее. И уже оттуда, из-за стены, добавил:

Реннел. Про восемь строк «внесено».

Я замер.

Не спрашивай меня о них при других, — предупредил дракон из темноты. — Спроси, когда никого не будет. Тогда я, может быть, отвечу.

И ушёл.

Я постоял на крыльце.

Пять видов. Нужно шесть. Три месяца. Один золотой девяносто четыре медяка, из которых, если считать по-честному, два медяка уже унесли мунлики.

И слепой пеплогрив, которому надо не переставлять корыто.

Я тяжело вздохнул и пошёл в дом составлять договор.

Глава 3

Договор я сел писать в шестом часу утра, потому что не спал.

Не спал, если честно, из-за крыла. Лежал, смотрел в потолок, где по балке ползла трещина, и раз за разом прокручивал: девятнадцать лет, сустав,росло, срослось, резать вслепую. И каждый раз упирался в то, что резать вслепую нельзя, а по-другому не выйдет.

Так что в шестом часу я плюнул, зажёл огарок и пошёл вниз.

Кеша обнаружился на крыльце. Он там, по-моему, и ночевал — свернувшись кольцом, положив башку на хвост, точно как кот на подоконнике, только с восьмипудовым перевесом.

Не спится, — констатировал он, не поднимая головы.

Я опустил на верхнюю ступеньку.

— Мне и правда не спится третью ночь.

Прекрасно. Тогда пиши договор правильно, а не как ты собирался.

— А как именно я собирался его писать?

По-человечески, — фыркнул дракон и покачал головой, всем своим видом показывая, свое пренебрежение.

Я тяжело вздохнул и покачал головой.

И за что мне вот все это...

* * *

Выяснилось, что за сто десять лет в этом доме Ксаверий Аргентум Третий составил, по его собственным словам, «некоторое количество» бумаг. Некоторое количество — это, как я потом выяснил по книге, около четырёхсот договоров, шестьдесят закладных и одно завещание, которое опротестовывали в столице девять лет и не опротестовали.

Диктовал он, лёжа на пороге и просунув башку в дверь ровно настолько, чтобы видеть лист. Дальше не пускала Мавра — не физически, а тем способом, каким пожилые домоправительницы вообще не пускают.

«Настоящим соглашением, заключённым между...» Реннел, ты пишешь «между мной и».

— Так я и пишу «между мной и».

Не пиши «между мной и». Пиши полными именами с титулами обеих сторон. Иначе на слушании тебя спросят, кто такой «я», и ты будешь стоять и объяснять.

Я отложил перо.

— Ксаверий, это же соседка, с которой я вчера сидел на бревне.

Восемь лет назад твой дед точно так же сидел на бревне с зерноторговцем Кальбе, — напомнил в ответ дракон и просунул морду чуть дальше в дверь. — И записал «поставка овса по обычной цене». Обычная цена, Реннел. Через год Кальбе объяснил суду, что обычная цена — это его обычная цена, а не рыночная. Мы заплатили сорок один золотой за то, что твой дед поленился написать четыре слова.

Я написал полными именами с титулами.

Дальше пошло веселее. Дракон требовал определять всё: что считать «алхимической поставкой» (перечислением, а не общим словом), от какой суммы берётся восьмая доля — от валовой или от чистой (от чистой, и «пусть попробует поспорить»), что происходит с долей, если Илария по каким-то причинам перестанет работать (доля замораживается, но не пропадает), и что происходит, если Урочище перейдёт другому владельцу.

На этом пункте я остановился и перечитал написанное.

— А этот пункт нам вообще зачем?

Затем, что если через два с половиной месяца сюда придут Марвейны, у неё должно остаться право требования к земле, а не к тебе лично, — пояснил Кеша и постучал когтем

по порогу. — *Тогда они будут иметь дело не только с бароном без денег, но и с обременением. Обременения покупателей раздражают.*

— Ты предлагаешь мне заранее подложить свинью тому, кто у меня всё отберёт.

Я отодвинул лист.

Я предлагаю тебе перестать думать словом «отберёт» и начать думать словом «дорого», — поправил дракон. — Отобрать у тебя ничего нельзя. Можно только купить. Твоя задача — сделать это настолько дорогим и муторным, чтобы им расхотелось.

Я дописал пункт.

Солнце к тому времени встало, и на кухне загремела Мавра.

* * *

Илария приехала в девять, в том же плаще, но выспавшаяся и оттого гораздо более опасная.

Она взяла договор, села к окну и стала читать. Читала одиннадцать минут — я засёк по капели, которая падала с крыши с очень равномерным интервалом.

— У меня вопрос по пункту шестому, — объявила она, не поднимая головы.

— А что с ним не так?

— Всё так, в том и беда, что слишком так, — отозвалась Илария и подняла на меня глаза. — Тобиас, вы вчера производили впечатление человека, который в жизни не составлял договора.

— Я его и правда никогда не составлял.

— А это тогда у меня в руках что? — уточнила она, встряхнув листом.

— Это мне продиктовали от начала до конца.

— И кто же вам его диктовал? — поинтересовалась Илария, откладывая бумагу.

Я подумал, как объяснить. И решил этого не делать.

— Наш... управляющий.

Я зачем-то поправил чернильницу.

Илария посмотрела на меня очень внимательно.

— У вас нет никакого управляющего, — возразила она, разглядывая меня в упор. — У вас вообще никого нет, кроме Мавры, мальчишки и полутролля.

— Он у нас на людях не показывается.

— Замечательно просто, — протянула она с непередаваемой интонацией и снова взялась за лист. — Управляющий-невидимка. У вас тут очень весёлое хозяйство, барон. Пункт девятый.

— А с девятым что не так?

— В нём у вас дыра, — объявила она, развернула лист ко мне и постучала ногтем. — «Доля исчисляется от чистого дохода алхимической поставки». Прекрасно. А кто считает чистый доход?

— Считать его буду я.

Я осёкся.

— Вот именно, что вы, — подхватила Илария и откинулась к спинке. — Вы. По своим книгам. Которые я не вижу. Через год вы мне скажете, что чистого дохода не было, потому что весь валовый ушёл на корма, и формально будете правы.

Я открыл рот и сразу же закрыл.

С крыльца донеслось нечто, что я к тому моменту уже научился опознавать как драконий смех: сухой, короткий, вроде кашля.

Она совершенно права, — вмешался Кеша с явным удовольствием. — Мне нравится эта женщина. Впиши ей право на выпуск.

— Что именно ей вписать?

Право раз в квартал требовать выписку по статье за подписью владельца. Не всю книгу — только по её статье. И укажи срок: семь дней с требования.

Я вписал.

Илария перечитала, шевеля губами.

— Вот теперь я это подпишу, — объявила она и потянулась за пером. — Тобиас, а вы мне покажете вашего управляющегося? - спросила она и я хмыкнул.

— Возможно, когда-нибудь, - ответил я, на что она лишь пожала плечами.

Думаю, мы друг друга поняли.

* * *

Дальше началось то, чего я боялся со вчерашнего вечера, и это была не операция.

Это был разговор о том, где её делать.

Я вошёл в кухню.

— Резать будем на кухонном столе.

Мавра поставила чугунок. Аккуратно. Не грохнула. И вот от этой аккуратности мне сразу стало не по себе.

— Нет, не будем, — отрезала она.

— Мавра, мне нужна ровная поверхность, кипятик под рукой и свет. Всё это есть только в кухне.

— На этом столе я мешу тесто, — напомнила Мавра, упершись в столешницу обеими ладонями. — Хлеб. Который ты жрёшь. Ты предлагаешь мне на нём резать птицу?

— Я его сам выскоблю и ошпарю кипятком.

— Ошпарит он, поглядите на него, — проворчала Мавра, не убирая ладоней.

— Мавра, давай без этого.

— Господин барон, вы меня не уговорите, — отчеканила она, и я мысленно поставил себе галочку: перешла на титул, значит, всерьёз.

Илария в этот момент сидела на лавке и с интересом наблюдала, не вмешиваясь.

— Хорошо, тогда прачечная.

— В прачечной крыша течёт третий год, — напомнила Мавра, забирая чугунок обратно.

— Тогда оранжерея, там светло.

— Там ваш... — Мавра запнулась и отвернулась к печи. — Там сквозняк гуляет.

— Малая гостиная, стол из красного дерева.

— Он у вас расшатанный весь, — отозвалась она через плечо.

Я сел на лавку.

— Мавра, назови мне тогда место, где можно.

Мавра вытерла руки о передник и посмотрела на меня как на слабоумного.

— Так стол же вынести можно, — удивилась она моей несообразительности. — Кухонный. Во двор. Под навес. Там и свету полно, и вода в двух шагах, и потом отскоблишь на воздухе, а не в моей кухне.

Возникла небольшая пауза.

— Это отличная мысль, Мавра.

Я поднялся с лавки.

— А то я не знаю, что отличная, — отозвалась она и вернулась к печи.

С крыльца снова кашлянуло.

* * *

Стол выносили вчетвером, потому что оказалось, что он дубовый, двухсотлетний и весит как небольшойobelisk. Гуш взялся за один конец и поднял. Мы с Пимом взяли за второй конец и подняли примерно на треть.

— Господин, отойдите в сторону, — велел Гуш, перехватывая столешницу поудобнее.

— Я вполне держу свой край.

— Вы его не держите, — не согласился он и приподнял стол одной рукой, доказывая свои слова.

Я посмотрел на свои руки. На двадцатиоднолетние баронские запястья и отошел в сторону.

Гуш вынес стол один. Пим шёл рядом и придерживал за угол с сосредоточенным лицом человека, вносящего решающий вклад.

Под навесом стол установили, выровняли клиньями и трижды ошпарили. Илария разложила инструменты — свои, потому что моих не было. Ножи, зажимы, крючки, иглы, моток жил, склянки. Всё чистое, всё разложено в порядке, и я снова поймал себя на дурацком облегчении: с этой женщиной можно работать.

Я разглядывал разложенные инструменты.

— Что у вас есть из обезболивающего?

— Сонная каша есть, дурман-корень с молоком, — перечислила Илария и поморщилась. — Дозировка на птицу такого веса — примерно, — она задумалась. — Я никогда не считала.

Я достал блокнот.

— Значит, посчитаем сейчас. Какой у неё вес?

— По прошлому месяцу четыре с четвертью, — отозвалась она.

— Четыре с четвертью килограмма?

— Четыре с четвертью чего, простите? — не поняла Илария.

— Неважно, оговорился. Четыре с четвертью чего у вас?

— Фунта, разумеется, — отчеканила она, глядя на меня очень внимательно.

Я вздохнул. Значит, ещё и в фунтах.

— Хорошо, зайдём иначе. Сколько кашицы вы дали бы кошке того же веса?

— Кошке я бы дала на самом кончике ножа, — отозвалась Илария, показав кончик мизинца.

— А птице того же веса сколько?

— А птице я бы дала вдвое меньше, — выговорила Илария медленно, откладывая склянку. — У них сердце частит, дыхание частит, и они уходят от такого совсем.

— Правильно. Ещё меньше, — я подумал. — Илария, у нас есть выбор: усыпить её глубоко и рискнуть, что не проснётся, или дать ровно столько, чтобы она не билась, и держать.

— Держать — это как?

— Держать будет Гуш.

Я кивнул в его сторону.

Гуш, стоявший в трёх шагах, кивнул.

— Она у нас умрёт от страха, — предупредила Илария, не поднимая головы от инструментов.

Я засучил рукава.

— Не умрёт, я её подержу.

— Вы только что сказали, что держит Гуш, — напомнила она.

— Я подержу её другим способом.

Я посмотрел на холстину.

Илария перевела взгляд на мой нос — вчерашнее она явно не забыла — и промолчала.

* * *

Пима я поставил на свет.

У него в руках было зеркало — старое, мутное, из малой гостиной, — и его задача была ловить солнце и класть на крыло. Простая задача, если не считать того, что солнце ходит.

— Пим, подойди-ка сюда.

— Чего мне сделать? — отозвался он, подбегая.

— Ты сейчас будешь стоять тут два часа и держать. Рука затечёт через двадцать минут. Меняешь руку, не опуская. Если тебе станет нехорошо — говоришь вслух, отходишь, садишься. Не геройствуешь. Понял?

— Всё понял, не подведу, — выпалил он и перехватил зеркало обеими руками.

— Повтори.

— Меняю руку. Если нехорошо — говорю и сажусь.

— Молодец.

Он покраснел до ушей.

Мавра принесла кипяток в двух чугунах и осталась стоять поодаль, сложив руки. Я хотел было отправить её в дом, но не стал. Пусть стоит. У неё за спиной семьдесят лет этого дома, ей на это смотреть нужнее, чем мне.

Кисейницу принесла Илария, завёрнутую в холстину. Птица не билась. Она вообще почти не сопротивлялась, и вот это было хуже всего: животное, которое перестало сопротивляться, обычно перестало и надеяться.

Я положил ладони поверх холстины.

И "открылся".

* * *

Это трудно объяснить.

С пеплогривом меня просто накрыло, я ничего не делал. Тут я сделал сам — потянулся навстречу, как тянутся в тёмной комнате рукой, и нашёл.

Игла под ногтем. Ровная, привычная, девятнадцатилетняя.

И следом, глубже — паника. Не острая. Тусклая, размазанная, тоже привычная: держат, значит, сейчас опять будет то, что всегда бывает, и надо перетерпеть, и потом станет как было.

Первое, что я попытался сделать, это внушить птице спокойствие.

Это, если честно, звучит по-идиотски, и в первый момент ничего не вышло. Потому что нельзя сказать животному «спокойно», если сам стоишь над столом с ножом и у тебя трясутся руки. Она чувствовала меня ровно так же, как я её. Мы были соединены в обе стороны, и я об этом не подумал.

Так что сначала пришлось успокоиться самому.

Я стоял с ладонями на холстине и минуты две дышал. Считал вдохи. Вспоминал, как в питомнике перед сложной операцией мыл руки ровно шестьдесят секунд — не потому, что надо шестьдесят, а потому, что за эти шестьдесят секунд меня всегда отпускало.

Паника пошла на убыль.

Не ушла. Стала тише, как отодвинутая.

Я положил ладони на холстину.

— Начинаем, все по местам. Гуш, корпус и лапы, не крыло. Держать ровно, не сжимать, если она рванёт — не догонять хваткой, ждать, пока я скажу. Илария, вы режете.

— Резать буду я?! — переспросила она, отступив на полшага.

— Вы. У меня руки заняты и у меня нет вашего опыта работы с этим телом. Я говорю, вы делаете.

— Тобиас, я не...

— Илария, послушайте меня. Вы восемь лет ставили этой птице зонд в горло. Вы знаете её анатомию лучше меня. Я знаю, где болит. Вместе мы её вытащим, порознь — нет.

Она взяла нож.

Руки у неё не тряслись. Совсем. Я потом узнал почему, но об этом позже.

* * *

Резали час двадцать.

Я не буду описывать это подробно, потому что подробно — это в племенную книгу. Скажу главное.

Нарост оказался не суставом.

Илария вскрыла кожу над бугром, развела, и я успел подумать «сросшийся мозоль», а потом она выговорила очень ровным голосом:

— Тут капсула.

— Что вы там нашли?

— Капсула. Соединительная. Плотная, — пауза. — Внутри что-то есть.

Птица под моими руками дёрнулась, и я едва удержал в ней «спокойно», которое чуть не выскользнуло, как мокрая рыба.

— Гуш, держи. Пим, свет левее. Ещё. Стой так.

— Тобиас, я такое уже видела, — выговорила Илария, не убирая ножа. — Один раз, у собаки.

— И что там было?

— Дробина.

Мы посмотрели друг на друга через стол.

Я крепче прижал холстину.

— Вскрывайте её.

Она вскрыла капсулу.

Внутри, в мутной желтоватой жидкости, лежал обломок. Сантиметра три длиной, чёрный от времени, с одной стороны обломанный, с другой — заточенный.

Наконечник. Маленький, тонкий, гранёный.

Такими бьют птицу.

* * *

Дальше я работал молча, потому что если бы я начал разговаривать, я бы перестал держать.

Достали. Вычистили капсулу до чистого. Промыли. Илария зашила — четырьмя стежками, аккуратно, изнутри, — и наложила повязку с мазью, состав которой я записал себе на манжету, потому что бумаги под рукой не было.

Крыло легло.

Не идеально — сустав был разработан криво за девятнадцать лет, и это уже не отменишь. Но легло. Прижалось к телу, как правое.

Я убрал ладони.

Птица лежала на боку, дышала часто и мелко, и в ней уже не было иглы. Была тупая горячая боль от разреза — совсем другая, свежая, честная боль, которая проходит.

И под ней — то самое, для чего у меня не было слова.

Ожидание. Которое, оказывается, всё ещё было.

— Она проснётся? — спросил Пим сипло. Он всё ещё держал зеркало, хотя солнце ушло за навес десять минут назад.

Я наконец убрал ладони.

— Проснётся обязательно. Опустит руку, ты молодец.

Он опустил руку, и его тут же повело в сторону. Мавра оказалась рядом раньше, чем я успел шагнуть.

— Сидеть, кому говорю, — велела она и посадила его на землю. — Голову вниз. Вот так. Дыши.

— Да я нормально себя чувствую, — попробовал возразить Пим.

— Дыши, кому говорю, — недовольно буркнула Мавра и смерила меня негодующим взглядом.

Ох, чувствую ждать беды...

* * *

Ужинали в кухне впятером, и это, кажется, был первый раз за очень долгое время, когда за этим столом сидело больше двух человек.

Иларию Мавра усадила молча, но с таким видом, что отказаться было нельзя. Гуш сел с краю, на лавку, которая под ним скрипнула, но смирилась. Пим ел так, как едят четырнадцатилетние после сильного испуга, — то есть за троих и не поднимая головы.

— Ты, значит, барона тен Овеска дочка будешь, — начала Мавра, подкладывая Иларии добавки.

— Его дочка, всё верно, — подтвердила Илария, не поднимая головы от миски.

— Старшая?

— Единственная.

— А, ну да, ну да, — протянула Мавра и переставила солонку.

Илария посмотрела на неё поверх ложки.

— И что означает «ну да, ну да»?

— Ничего не означает. Ем.

— Мавра, ты что-то недоговариваешь, — заметила Илария.

— Я же говорю, ничего оно не означает, — отозвалась Мавра невозмутимо. — Просто вспомнила, что вашей матушке в позапрошлом году сватали Мертенса из Вельны. И что она отказала. И что мне это тогда показалось разумным, потому что у Мертенса зубы.

— У Мертенса действительно зубы, — согласилась Илария.

— Вот и я говорю.

Я молча ел кашу и старался не участвовать. Опыт восьми лет в коллективе, где было четыре женщины и одна кофеварка, научил меня: если при таком разговоре открыть рот, дальше говорить будут про тебя.

— А вы, господин барон, женаты не были, — немедленно вставила Мавра и подложила добавки уже мне.

Вот.

— Не был ни разу.

— И невесты нет.

— Мавра, у меня четыреста тридцать два золотых долга.

— Одно другому не мешает, — возразила Мавра и забрала у меня пустую миску. — Бывает, что и помогает.

Гуш издал звук. Очень короткий. Я не сразу опознал в нём смех, потому что до этого не слышал ни разу.

— Дядя Гуш, а вы видали, как он её держал? — влез Пим с набитым ртом. — Он ладони положил, и она перестала. Совсем перестала. Я думал, она забьётся, а она лежит.

— Видал я, как он держал, — подтвердил Гуш и отодвинул миску.

— Это же магия?

— Пим, не приставай к людям, — оборвала его Мавра.

— А чего я такого спросил-то? — возмутился он.

— Того. Ешь.

Илария за всё это время не проронила ни слова, но я чувствовал её взгляд затылком, и он был очень заинтересованный.

* * *

Обломок она выложила на стол, когда убрали посуду.

— Смотрите сюда, — велела она и развернула тряпицу прямо между хлебницей и солонкой.

Взяла пинцетом, поднесла к свету лучины и повертела.

— Значит, девятнадцать лет назад, — подытожила она, вертя обломок пинцетом.

— Или раньше. Капсула нарастала не сразу.

— Тобиас, кисейница жила в закрытом дворе. За стеной. Всю жизнь.

— Я это прекрасно знаю, — отозвался я.

— Тогда как?

Я не ответил, потому что ответов было слишком много и все неприятные. Стреляли снаружи, через стену, наудачу. Или стреляли внутри. Или её принесли уже подстреленной, а записали как здоровую.

— Илария. По записям — когда её привезли?

— Она не привезена. Она здесь родилась.

Вот тебе и раз.

— Значит, стреляли прямо на территории.

Я отодвинул кружку.

Илария положила обломок обратно на тряпицу и вытерла пинцет.

— Тут есть ещё кое-что, — добавила она и поднесла обломок ближе к лучине. — Посмотрите на грань.

Я посмотрел.

По одной из граней шла насечка. Три коротких штриха под углом, потом кружок. Очень мелко, но чётко — такое ставят не для красоты, а чтобы отличать своё от чужого.

Я забрал у неё пинцет.

— Это клеймо.

— Оно не гильдейское, — определила Илария и вернула обломок на тряпицу. — Гильдейские я знаю, я снаряжение закупую. Это личное.

Гуш через стол протянул руку и взял обломок двумя пальцами — так осторожно, как будто боялся раздавить, и, наверное, правда боялся.

Посмотрел.

— Такое клеймо я уже видел, — произнес он и положил обломок обратно.

Все повернулись к нему.

Восемь фраз в неделю — это, если что, не преувеличение. Я потом считал.

— Где? — спросил я.

— На каменоломне, — Гуш положил обломок обратно на тряпицу. — К нам ходил человек. Брал зверьё. Ловчий. У него на всём такое стояло — на болтах, на силках, на клетках. Три чёрточки и кружок.

— Как звали?

Гуш подумал.

— Имени его не знаю, — признал Гуш, разводя огромными ладонями. — Его звали Ловчий, больше никак не звали.

— И давно он там появлялся?

— Семь лет назад, — он сделал паузу. — Он и раньше ходил. Люди говорили — лет двадцать ходит.

Я посмотрел на обломок.

Двадцать лет.

— Мавра, ты про такого слышала?

За спиной у меня звякнуло. Не разбилось — просто звякнуло, как звякает миска, которую поставили чуть резче, чем собирались.

— Мало ли кто по округе ходит, — отозвалась Мавра и переставила миску чуть резче, чем собиралась.

Я обернулся.

— Мавра, я к тебе обращаюсь.

— Я говорю: мало ли кто ходит, — она собрала со стола хлебные крошки в ладонь, ссыпала в передник и пошла к печи. — Поздно уже. Госпоже тен Овеск ехать три версты в темноте, а лошадь у неё некованая, я видела.

— Кованая у меня лошадь, — возразила Илария, поднимаясь из-за стола.

— Плохо кованая, — отрезала Мавра.

И встала к печи спиной.

Второй раз за два дня.

Я смотрел на эту очень прямую, очень занятую спину, и думал, что в этом доме, оказывается, есть человек, который знает больше дракона.

Илария поднялась, накинула плащ и, пока завязывала тесёмки, тихо обронила мне у двери:

— Она соврала.

— Я заметил.

— Тобиас, я вам вот что скажу, и не обижайтесь, — девушка затянула узел. — Мне тут очень не нравится. Не вы. Тут.

— Мне тут тоже не нравится.

Я придержал ей дверь, а затем, когда она уже была крыльце, добавил:

- Мне тоже...

* * *

Кеша лежал там, где и всегда, и по нему было видно, что он всё слышал от первого слова до последнего.

— Ксаверий.

Слушаю.

Я развернул тряпицу и положил перед ним на доски.

Дракон опустил башку. Понюхал — не носом, а как-то иначе, поводя ноздрями на расстоянии в пол-ладони. Долго рассматривал грань.

И я почувствовал — не через дар, он тут был ни при чём, а просто увидел, — как у него по загривку "прошло".

От основания черепа до лопаток. Как проходит по человеку, которому называли фамилию, которую он двадцать лет не слышал. Как мурашки.

Убери это, — потребовал он и отвёл морду.

— Ты знаешь это клеймо.

Убери, Реннел.

Тряпицу я не убрал.

— Ксаверий, послушай меня. В крыле этой птицы девятнадцать лет сидел наконечник. Она родилась в закрытом дворе. Значит, стрелял кто-то, кто был внутри. Я хочу знать кто.

Дракон медленно поднял голову и посмотрел на меня.

Жёлтый глаз с горизонтальным зрачком, и в нём не было ничего от вчерашнего насмешливого крючкотвора.

Ты хочешь знать слишком многое, — заметил он и поднял голову. — Ты хочешь знать про восемь строк. Ты хочешь знать про клеймо. Реннел, тебе через два с половиной месяца считать виды, у тебя их пять из шести, и у тебя один золотой девяносто четыре медяка. Ты уверен, что хочешь тратить голову на то, что случилось так давно?

— Я хочу знать, кто в моём заповеднике стрелял по животным.

В твоём заповеднике? — повторил Кеша.

И засмеялся — тем самым сухим кашлем, только на этот раз в нём не было ничего весёлого.

Хорошо, будь по-твоему, — уступил он наконец. — Тогда так. Я отвечу тебе на один вопрос из трёх. На один, Реннел, выбирай. Про строки, про клеймо или про то, зачем Марвейнам перекрёсток.

— Почему на один?

Потому что на два я не готов, — признался дракон очень просто, и мне от этой простоты стало неудобно.

Я стоял на крыльце с тряпицей в руке.

Из-под навеса доносился голос Иларии — она объясняла Пиму, как менять повязку, и объясняла второй раз, потому что первый он не запомнил. Мавра гремела чугунами, отмывая их от кипятка. Гуш нёс стол обратно, один, придерживая столешницу подбородком.

Кисейница спала на соломе в корзине, и у неё больше ничего не болело.

Я убрал тряпицу в карман.

— Тогда рассказывай про Марвейнов.

Правильный выбор, — одобрил Кеша и поднялся. — И вот тебе за него первое: они уже здесь.

— В смысле?

В смысле — на прошлой неделе через Урочище прошли двое. С юга, через болотную сторону, где ограды нет полверсты. Шли не таясь, с мерной цепью. Мерили от восьмого камня к четвёртому.

Я почувствовал, как у меня похолодели пальцы.

— Ты видел и молчал?

Я видел и ждал, — не согласился дракон. — Пока ты начнёшь задавать вопросы. Ты начал вчера. Сегодня третий день, как я тебя знаю, и ты за это время сделал больше, чем твой дед за девять лет. Так что нет, Реннел, я не молчал. Я проверял.

Он поднялся, потянулся и пошёл с крыльца.

Мерная цепь у камней означает одно, — обронил он на ходу, не оборачиваясь. — Они не собираются ждать аудитора. Они все решили.

Глава 4

Повязку сняли на девятый день.

Все девять дней её менял Пим — сам, дважды в сутки, утром и перед закатом, и я к нему в это время не лез. Первые два раза стоял рядом, потом стоял в трёх шагах, потом стал уходить.

На пятый день он подошёл ко мне с очень серьёзным лицом.

— Господин Тобиас, у меня к вам дело, — начал он, комкая в руках шапку.

Я отложил перо.

— Что у тебя за дело?

— Мне надо, чтобы вы сами посмотрели, — выговорил Пим. — Мне кажется, я все делаю правильно, но вдруг нет?

Я поднялся из-за стола.

— Что именно тебе не нравится?

— Вокруг шва стало розовое, — доложил он и провёл пальцем по своей руке, показывая. — Не красное, а розовое. И тёплое.

Я пошёл смотреть.

Вокруг шва было розовое, не красное, и тёплое ровно настолько, насколько положено на пятый день. То есть всё шло правильно, а мальчишка за пять дней научился отличать нормальное заживление от воспаления, потому что смотрел на него дважды в сутки и никто не внушил ему, что это скучно.

Я выпрямился.

— Правильно видишь, так и должно быть. Если станет красное, горячее и она начнёт отдёргивать — зовёшь немедленно, хоть ночью.

— А если я вас зря разбужу среди ночи? — засомневался он.

— За «зря разбудил» я тебе спасибо скажу.

Я положил руку ему на плечо. За «постеснялся разбудить» я тебя выгоню.

Он покивал.

И, судя по всему, поверил и в первое, и во второе.

* * *

У меня наконец появилась племенная книга.

Начал я её на третий день после операции, из чистой злости: перечитывал перед сном записи предков — те самые двенадцать тетрадок за двести лет, и наткнулся на строку «пеплогриву давали свёклу, ел плохо». Без даты. Просто так, посреди страницы.

Я встал, оделся, спустился и до утра расчерчивал.

Взял конторскую книгу из тех, что нашлись в шкафу — чистую, куплена явно на будущее и лежала лет тридцать. Разграфил: дата, особь, возраст, вес, корм задано, корм съедено, стул, поведение, лечение, кто наблюдал.

Последнюю графу я добавил не сразу. Сперва подумал, что она лишняя.

Потом подумал ещё раз и понял, что она главная.

Потому что если под наблюдением стоит подпись, то у наблюдения появляется автор. А у автора — самолюбие. А самолюбие — единственная сила, которая заставляет людей вносить записи ежедневно, а не когда вспомнится.

Первым в графе «кто наблюдал» расписался Пим. Печатными буквами, старательно, с нажимом. Я потом видел, как он этот разворот показывал Мавре.

Мавра на это отозвалась: «Ну и чего? Написал и написал».

И весь вечер ходила довольная.

* * *

Заодно я наконец обошёл все шесть дворов подряд, с книгой, и завёл на каждый вид отдельный разворот.

На это ушло четыре дня, и за четыре дня я узнал про своё хозяйство больше, чем за предыдущие три недели, потому что раньше я ходил туда, где "горело", а теперь пошёл по порядку.

Третий двор. Одиннадцать мунликов на площадь, рассчитанную, по моим прикидкам, особей на восемь. Они грызлись. Не всерьёз — но у двух самок были потёртые холки, а это первый признак того, что зверь постоянно "уступает дорогу".

Расселять было некуда. Я записал: «Перенаселение, 11 на 8. Требуется четвёртый двор. Стоимость — не считал, потому что нет смысла».

Пятый двор. Три копуна, все самцы, все взрослые. Норы в углу, глубокие, с валиками. Выходили они раз в сутки, оглядывались и уходили обратно, и за четыре дня я так и не увидел ни одного дольше пяти секунд.

Прудовые скользны. Их я вообще не смог посчитать. Записал «около сорока» и приписал: «Способ учёта не разработан. Придумать».

Сосновый. Тот, которого никто не видел.

По словам Гуша выходило: ночной, один, старый, живёт в кроне за прудом. Я две ночи просидел под этой сосной с фонарём, накрытым тряпкой, и не увидел ничего. На третью ночь я услышал — что-то прошло надо мной, очень близко, и я не услышал ни звука крыльев, только воздух.

Записал: «Присутствие подтверждено. Вид не установлен. Наблюдение не удалось».

И приписал: «Не лезть. Он тут дольше меня».

* * *

А на четвёртый день я нашёл Гортензию.

То есть я знал, что она есть — она числилась в описи палаты, — но я полагал, что она живёт в каком-нибудь из дворов, и три недели не мог сообразить, в каком.

Она жила в библиотеке.

Библиотека в господском доме была на втором этаже, не топились с позапрошлого года, и я туда заходил один раз в первую неделю, чтобы оценить, можно ли продать книги. Оказалось, нельзя: половина отсырела.

Теперь я зашёл второй раз — искать записи о видах.

И на стене, между шкафом и окном, на высоте моего плеча, сидела улитка.

Размером с колесо от телеги.

Я сел на пол.

Я не испугался — я просто сел, потому что ноги в тот месяц вообще принимали решения раньше меня. Она была серо-перламутровая, панцирь в разводах, тело под ним медленно двигалось, и она ползла — очень медленно, но ползла — вдоль верхней полки.

Я просидел на полу минут сорок и за сорок минут понял, что она делает.

Она проходила вдоль корешков. Останавливалась. Иногда шла дальше. Иногда сдвигалась к книге, лежавшей плашмя, и переползала через неё.

И там, где она переползала, на открытой странице оставался след — не слизь, а тонкий матовый оттиск, будто провели пальцем по запотевшему стеклу.

Я снял книгу с полки и посмотрел.

Это была приходно-расходная тетрадь за пятьдесят восьмой год. Раскрытая на развороте, где шли записи по кормам.

И оттиск лежал ровно на строке: «мунликам двор третий тесно, буде расширить».

Я сидел на полу в холодной библиотеке с чужой тетрадью на коленях и очень старался не делать выводов, потому что выводы в такой ситуации делаются сами и все неправильные.

Записал: «Гортензия. Перемещение по библиотеке. Оставляет матовый отгиск на открытых страницах. Проверить: совпадение или закономерность. Метод: раскладывать книги наугад, фиксировать, на что ляжет».

Проверял я это потом полгода. Забегая вперёд: закономерность.

Какая — я не знал до сих пор.

* * *

Крыло под повязкой выглядело плохо.

То есть шов выглядел прекрасно — тонкий, сухой, чистый, Илария зашила лучше, чем я бы это сделал. Плохо выглядело всё остальное.

Мышца сдулась. Девятнадцать лет крыло не работало, и от него осталась тень: кожа, перо, кость и почти ничего между. Правое крыло рядом было вдвое толще в основании.

— Она у вас не полетит, — объявила Илария, разглядывая снятую повязку.

Она приехала утром, специально к снятию, и стояла теперь, скрестив руки, и смотрела с тем особым выражением, которое бывает у людей, только что сделавших хорошую работу и понявших, что этого мало.

— Полетит, я вам обещаю.

Взгляда от крыла я не отрывал.

— Тобиас, тут махать нечем, — не согласилась она и развела пальцами над основанием. — Тут одна кожа и кость.

— Сейчас нечем, а мышца восстанавливается.

— И за сколько она у вас восстановится? — уточнила Илария.

— Точного срока я вам не назову. У птицы такого размера — недель шесть-восемь при нормальной нагрузке. Если нагрузки не будет, не восстановится вообще, атрофия закрепится.

— И как вы дадите ей нагрузку, если она не летает? — не отставала она.

Я присел на корточки у решётки.

— Будем давать её постепенно. Начнём с того, что она вообще вспомнит, что крыло есть.

Илария посмотрела на меня.

— Вы это уже когда-то делали? — уточнила девушка.

Я поднялся.

— Я делал это с сипухой. И с одним журавлём, который потом всё равно остался в вольере. Так что не обещаю.

— Но взяться всё-таки собираетесь, — заключила Илария.

— Собираюсь, и начну с завтрашнего дня.

Она помолчала.

— Что вам для этого нужно? — спросила она, доставая свою книжечку.

* * *

Как выяснилось, мне нужно было очень много всего.

Наклонный настил, шириной шага в три и длиной шагов в двенадцать, с невысоким подъёмом. Мягкая подстилка внизу — солома в два слоя, потому что падать она будет, и падать будет неудачно. Шест. Верёвка. И кто-то, кто согласится две недели подряд по четыре раза в день ходить с этой птицей туда-сюда.

Настил сколотили Гуш и Пим за полтора дня. Гуш пилил, Пим держал и подавал гвозди, а на второй день ему доверили молоток, и он вбил четырнадцать гвоздей, из которых восемь потом Гуш молча выдернул и забил заново.

Солому Мавра выдала со скандалом.

— Я на эту солому рассчитывала, между прочим, — возмутилась Мавра, загородив собой дверь сарая.

— А на что ты на неё рассчитывала?

— На то, что ею зимой сени закладывают, — объяснила она, не двигаясь с места. — Или ты, господин барон, зимой в сених жить собрался?

— Мавра, зима у нас через полгода.

— Она через полгода, а солома вот сейчас, — отрезала Мавра и всё-таки отступила на шаг.

Сошлись на половине.

Смысл всей конструкции был простой: птица идёт вверх по наклонному настилу, а наверху её ждёт корм. Идти по наклону тяжелее, чем по ровному, и на подъёме любая птица инстинктивно подмахивает крыльями — не летит, а помогает себе. Вот это подмахивание нам и было нужно. Десяток раз в день. Сначала по чуть-чуть.

Первые три дня она вообще отказывалась туда лезть.

Сидела внизу, смотрела на настил и не шла. Мы клали корм всё ниже и ниже, и в конце концов положили на второй доске от земли, и она поднялась на две доски и съела, и это было наше огромное достижение, о котором Пим доложил Мавре в тот же вечер с интонацией гонца с поля битвы.

На седьмой день она дошла до середины.

На девятый — до верха.

И на верху, дотянувшись до плоски, вдруг развела оба крыла для равновесия.

Оба.

Левое поднялось не полностью, градусов на семьдесят, дрогнуло и сложилось обратно. Но оно поднялось.

Пим завопил так, что с крыши второго двора снялись мунлики.

* * *

Кеша всё это время делал вид, что происходящее его не касается.

Он приходил. Ложился шагах в двадцати, у стены, мордой в другую сторону, и лежал часа по два. Если я обращался к нему напрямую, отвечал что-нибудь ядовитое про то, что у него нет других дел, кроме как смотреть на птицу, ходящую по доскам.

Реннел, ты в курсе, что тратишь на это по три часа в день?

— Я прекрасно об этом осведомлён.

У тебя два месяца.

— И об этом тоже осведомлён.

И пять видов из шести.

— Ксаверий, шёл бы ты отсюда.

Я переставил ведро.

Он не пошёл. Он остался лежать и пролежал до темноты.

* * *

Она полетела на семнадцатый день.

Никакой торжественности в этом не было — я вообще заметил, что важные вещи в работе со зверьём случаются в самое неподходящее время, обычно когда ты стоишь с ведром и думаешь о другом.

Я стоял с ведром и думал о том, что мунлики за неделю утащили ещё одну ложку и что ложек в доме осталось пять, а нас пятеро, и это уже похоже на организованное вредительство.

Кисейница поднялась по настилу, дошла до верха, развела крылья — и вместо того чтобы сложить их, оттолкнулась.

Пролетела шага четыре.

Криво, с завалом на левый бок, ударилась о солому боком и завозилась.

Я поставил ведро.

Она встала. Отряхнулась. И полезла обратно на настил.

Сама.

Никто её не гнал, наверху не было корма, я его в тот заход не положил. Она просто дошла до верха, развела крылья и оттолкнулась второй раз.

Шесть шагов.

Третий — восемь.

На четвёртом она поднялась выше настила, поймала что-то там наверху, что ловят птицы и чего я никогда не пойму, и пошла по кругу над двором — низко, метрах в двух, с креном, работая правым сильнее левого, и совершенно точно не собираясь садиться.

Она сделала одиннадцать кругов.

* * *

Про эти семнадцать дней надо сказать ещё одно, потому что без этого выйдет, что птица встала на крыло сама, а мы стояли и радовались.

Илария приезжала через день. Каждый раз — с весами.

Весы у неё были свои, рычажные, аптекарские, с гирьками до унции, и она таскала их в сумке за четыре версты, потому что мои — амбарные, на пуды — годились разве что для пеплогрива.

— Тобиас, мне нужен её вес, — потребовала она, доставая из сумки рычажные весы.

Я развёл руками.

— Она не даётся в руки.

— Значит, будем брать без веса, — решила Илария и убрала весы обратно.

Она придумала способ, до которого я не додумался: не взвешивать птицу, а взвешивать корм. Насыпать точно отмеренное, через сутки снять остаток, разницу записать.

— Но это же не вес получается.

— Это и не вес, вы правы, — согласилась Илария, отмеряя корм. — Это то, что она съела. А вес я и так вижу по килю, у меня рука набита.

На девятый день она подвела итог.

— Она ест на четверть больше, чем в начале, — объявила Илария, сверяясь с записями.

— И это хорошо или плохо?

— Смотря что там растёт, — отозвалась она, не поднимая головы. — Если мышца — хорошо. Если она просто жиреет от безделья — плохо, потому что тяжелее взлетать.

— А как нам одно от другого отличить?

— Никак не отличить, — призналась Илария и захлопнула книжечку. — Только временем.

* * *

На двенадцатый день мы поругались.

Всерьёз, в первый раз, и не из-за птицы.

Я предложил ей платить.

— Платить мне за что? — не поняла она и поставила сумку.

— Платить за приезды, по пять серебряков. Вы ездите через день. Вы ездите через день, вы возите свои снадобья и свои весы, вы тратите на нас день из двух.

Илария поставила сумку.

— У вас есть эти пять серебряков? — уточнила она, скрестив руки.

— Сейчас у меня их нет.

— Тогда о чём мы вообще говорим? — не поняла Илария.

— О том, что они когда-нибудь будут.

— Тобиас, послушайте меня, — начала она и села на бревно. — У нас с вами договор. Восьмая доля с алхимической поставки, пока долг не покроется вдвое. Мы его составляли три недели назад, вы его подписывали, и я его перечитывала при вас одиннадцать минут.

— Я это прекрасно помню.

— Так вот в том договоре ни слова нет про приезды, — напомнила Илария и разгладила подол. — Потому что приезды я вписывать не стала.

Я сел рядом.

— А почему вы их не вписали?

— Потому что я тогда решила, что это будет три-четыре раза, — объяснила она, глядя в сторону. — А не через день.

Мы помолчали.

— Илария, вот именно поэтому я и предлагаю.

— А я вам отказываю, — отрезала она.

— Да почему же вы отказываете?! — не выдержал я.

— Потому что если вы мне начнёте платить за приезды, — принялась объяснять Илария тен Овеск, повернувшись ко мне всем корпусом. — То я перестану быть человеком, который сюда ездит, и стану человеком, которого сюда вызывают. И тогда через полгода вы начнёте думать, звать меня или обойдётся, потому что пять серебряков. И иногда будете решать, что может обойдётся. А не обойдётся! Я вас в этом уверяю!

Я открыл рот и понял, что она права, и что я именно так бы и делал, потому что я считал всё.

Я поднялся с бревна.

— Это самый неприятный аргумент, какой мне приводили за месяц.

— Я знаю, что неприятный, — согласилась Илария, забирая сумку. — Я его два дня формулировала. Я, между прочим, знала, что вы это предложите.

* * *

Мавра пришла на шум и встала рядом.

Смотрела долго, вытирая руки о передник, хотя руки у неё были сухие.

— Надо же, как она пошла, — выдохнула Мавра, задрав голову.

— Пошла как миленькая.

— Мальчик мой, а теперь объясни мне, дураку, одну вещь, — попросила она, вытирая сухие руки о передник.

— Что тебе объяснить?

— Камень-то у вас не загорелся, — заметила Мавра.

Я обернулся.

Она смотрела не на птицу. Она смотрела в сторону прогалины, за деревья, туда, где стояло одиннадцать камней и светились два.

— Ты ж мне сам говорил, что зверь — это якорь, — напомнила Мавра, поворачиваясь в сторону прогалины. — Что вид живой — тропа горит. Она вон летает. А камень?

— Она у нас одна такая.

Я наконец опустил голову.

— И что с того, что одна? — не поняла Мавра.

— То, что вид — это не одна особь. Вид — это те, кто даёт потомство. Она может летать сколько угодно. Пары нет.

Мавра пожевала губами.

— А где пара?

Я кивнул в сторону прогалины.

— Пара её вон там. За её камнем, в её мире.

— Так сходи.

— Мавра, камень погас.

— И что с того, что погас? — не поняла она.

— А через погасший камень не ходят. В этом весь смысл. Тропа гаснет насовсем.

Мавра подумала.

— Дурость это какая-то, — заключила она наконец и поправила шаль. — Чтоб зажечь, надо зверя привести. Чтоб зверя привести, надо чтоб горело. Это ж как с работой: чтоб взяли, нужен опыт, чтоб опыт, нужно чтоб взяли.

— Примерно так.

— Ну и кто это придумал?

— Понятия не имею кто.

— А ты пойди да спроси, — посоветовала Мавра и двинулась к дому. — У кого следует. И ушла в дом.

* * *

Кеша лежал у стены и смотрел на птицу.

Он лежал так уже минут двадцать, не двигаясь, и когда я подошёл, даже не сделал вид, что занят чем-то другим.

Одиннадцать кругов, — обронил он, не поворачивая головы.

— Ты считал?

Я всё считаю. Это профессиональное.

Я сел рядом на землю. Птица наверху пошла на двенадцатый и начала снижаться — устала.

— Ксаверий.

Не начинай.

— Погасшая тропа. Открыть её можно?

Дракон долго молчал.

Птица села — плохо, на брюхо, проехала по соломе, — и завозила, устраиваясь. С другого конца двора к ней уже бежал Пим.

Скажи мне, Реннел, — произнёс наконец Кеша. — *Ты за девять дней ни разу не спросил, почему пошла называется пошлиной.*

— В смысле?

В прямом. Пошлина. Плата за проход. Ты решил, что её платят тебе, потому что земля твоя, и на этом успокоился, — он повернул башку. — А платят ей, не тебе. Тебе достаётся доля. Основное уходит в тропу.

— Тропа берёт деньги?

Тропа берёт отданное, — поправил дракон. — *Это разные вещи, и разницу ты поймёшь позже, потому что сейчас не для тебя это слишком сложно.*

— Ксаверий.

Что?

— Погасшую тропу можно открыть?

Он смотрел на меня жёлтым глазом, и я впервые за девять дней не мог понять, что у него в морде.

Один раз, — уступил он после долгого молчания. — В одну сторону и обратно. Дорого.

— Насколько дорого?

Настолько, — отчеканил Ксаверий Аргентум Третий из Кладки Пепельных Гор. — *Что я предпочту, чтобы ты сначала съездил в город и попробовал занять денег как нормальный человек.*

Он поднялся и пошёл к оранжерее.

И, Реннел. В городе тебя будут ждать.

— И кто же меня там ждёт? — насторожился я.

Тот, кто выкупил твою закладную, — отозвался дракон, не оборачиваясь. — *У тебя летает кисейница. Это видели из-за ограды. Такие новости ходят быстрее тебя.*

Глава 5

Собирались два дня, и за эти два дня я узнал про своё хозяйство больше, чем за предыдущие две недели.

Потому что одно дело — читать в приходной книге строку «поставка алхимическим домам, тридцать восемь золотых», и совсем другое — пойти на склад и посмотреть, что там, собственно, лежит.

Склад был в северном крыле, в двух комнатах с окнами на глухую стену. Ключ висел на гвозде в кухне, у всех на виду, и это уже говорило о многом.

Я открыл. Постоял в дверях, а затем произнёс слово, которого баронам говорить не положено.

— Чего вы там увидели? — беспокоился Пим у меня за спиной.

— Ничего хорошего. Неси лампу.

* * *

Там было сырьё. Много. Мешки, короба, связки, подвешенные к балке пучки. Собирали годами — сбрасывала чешую Гортензия, линяли мунлики, перья, лез из шкуры пеплогрив.

Всё это лежало вперемешку, в холщовых мешках, и мешки стояли под окном.

Я поднял лампу выше.

— Пим, кто всё это складывал?

— Не знаю я, всегда так лежало, — отозвался он, вертя головой.

— А «всегда» — это сколько лет?

— Да сколько себя помню, — ответил Пим, немного подумав.

Я развязал ближайший мешок.

Мунличий подшёрсток. Тот самый, который светится. Фунтов семь, и стоит он, судя по книге, четыре серебряка за фунт, потому что из него алхимики тянут светящуюся нить и делают дорогие лампы, которые не гаснут.

Я вынул горсть и поднёс к лампе.

Серый.

Не бледно-зелёный, не с отливом. Просто серый, как из-под старого кота.

Я растёр горсть между пальцами.

— Он весь выгорел.

— В каком смысле выгорел? — не понял Пим и подошёл ближе.

— Эта штука светится потому, что в ней есть вещество, которое разрушается на свету. Медленно, но разрушается. Держать надо в темноте, в закрытом коробе. А оно у вас три года лежало под окном.

Пим посмотрел на мешок. Потом на окно. Потом на меня.

— Это я его туда поставил, — выговорил он тихо и опустил лампу.

— Когда ты его туда поставил?

— Года два назад, — признался Пим. — Мне бабка велела мешки от сырости убрать, а под окном сухо...

Он замолчал.

Вот тут была развилка, и я её очень хорошо почувствовал. Можно было отделаться словами «ничего страшного». Это было бы неправдой, он бы понял, что неправда, и в следующий раз просто промолчал бы.

— Это плохо, Пим. Ты угробил, навскидку, золотых на пять.

Он побелел.

— Но при этом ты сейчас единственный человек в этом доме, который знает, почему так вышло. Мавра не знает. Гуш не знает. Я узнал минуту назад и только потому, что ты не смолчал. Поэтому иди сюда и слушай, что мы будем делать дальше.

* * *

Дальше мы делали то, что в питомнике называлось скучным словом «ревизия», а на деле было единственным способом узнать, чем ты владеешь.

Три дня, вместо двух, мы вчетвером перебирали склад.

Раскладывали по видам. По годам, где можно было определить. По качеству.

Я учил их сортировать. Не потому, что мне нравится учить, а потому, что иначе пришлось бы делать всё самому.

— Смотри сюда внимательно, — начинал я, держа перед ним два пера. — Вот это и вот это. Какая между ними разница?

— Да одинаковые они, — пожимал плечами Пим.

— Совсем не одинаковые, возьми на просвет.

Я вкладывал перья ему в руку.

Он брал.

— Тут какие-то полоски, — определял он через минуту, поднимая перо к лампе. — А тут ровное всё.

— Правильно увидел, полоски — это стресс. Голод, болезнь, испуг. Перо росло рывками. Такое ломкое, для нити не годится, идёт в дешёвый сбор. А ровное — целое. Разница в цене втрое.

— Прямо-таки втрое?! — не поверил он и уставился на перо заново.

— Ровно втрое, я тебе потом на счетах покажу.

И мы сортировали дальше, и Пим уже сам поднимал каждое перо к лампе, и на третий день он делал это быстрее меня.

Мавра всё это время ходила мимо с видом человека, который лично не участвует, но проверяет. Один раз остановилась над коробом с чешуёй Гортензии, взяла пластину, повертела.

— Мылом бы её, — обронила Мавра, вертя пластину в пальцах.

— Что именно мылом?

— Протереть бы её мылом, мутная она вся, — пояснила Мавра и подставила пластину к свету.

Я взял пластину. Она была мутная — налёт, известковый, от воды в её лохани.

Я забрал у неё пластину.

— Мавра, ты просто гений.

— Я и без тебя это знаю, — согласилась Мавра и ушла к печи.

Мыли всю чешую. Двести шестьдесят пластин.

* * *

Итог ревизии.

К продаже годного — на пятнадцать, может, семнадцать золотых, если брать по книге и торговаться прилично.

Испорченного, выгоревшего и просто сгнившего — примерно на столько же.

То есть половину годового дохода я потерял до того, как вообще вошёл в этот дом. И потерял её потому, что никто не объяснил четырнадцатилетнему мальчишке, что светящуюся шерсть нельзя держать на свету.

Я записал это в племенную книгу, на отдельный лист, крупно, и подписал: «Хранение. Правила. Читать всем».

Правил вышло девять.

* * *

Накануне отъезда у меня в кухне состоялось совещание, которого я не назначал.

Оно образовалось само, как образуются пробки на дороге: я зашёл выпить воды, там сидела Мавра, следом заглянул Пим, потом приехала Илария — привезла мазь и осталась, потому что Мавра её усадила, а на крыльце в дверном проёме лежал Кеша, и его к счастью, слышал я один.

— Значит, так, записываю, — объявила Мавра, доставая с полки обгрызенный карандаш. — Соль.

— Мавра, я еду продавать, а не покупать.

— Соль, три фунта, — повторила она и записала, не поднимая головы. — Дальше. Нитки чёрные, потому что чёрных нет, а у тебя на камзоле третий день дыра под мышкой, и ты в ней к людям поедешь.

— Нет у меня никакой дыры.

— У тебя есть дыра, подними руку, — велела Мавра.

Я поднял руку. Дыра была.

Я опустил локоть.

— Пиши нитки.

— Нитки. Свечи, потому что ты их жжёшь как не в себя. Гвоздей четвёртого номера, Гуш просил. Дёгтю, — она писала, шевеля губами. — Ремешок для Пима, у него башмак подвязан бечёвкой, стыд один.

— Бабка, ну ты чего при людях! — вспыхнул Пим.

— Молчи и не встревай, — отрезала Мавра, не отрываясь от списка. — Ты не за себя стыдишься, ты за дом стыдишься. Дальше...

Скажи ей, что у тебя двадцать монет, — заметил Кеша с крыльца.

— У меня всего двадцать одна монета, Мавра, и та медная.

— А вот продашь товар — и будет больше, — отозвалась она невозмутимо и записала дёготь.

Илария всё это время сидела, подперев щёку, и наблюдала с плохо скрытым удовольствием.

— Тобиас, а к кому вы вообще едете? — поинтересовалась Илария.

— Еду к Дербену, больше не к кому.

Она перестала улыбаться.

— К Дербену вам ехать не стоит, — предупредила она, и улыбка быстро исчезла с ее губ.

— А почему не стоит?

— Потому что он вашего деда четырежды выставлял, — объяснила Илария и подтянула к себе кружку. — Он мне сам рассказывал, с наслаждением, за кружкой. Он на фамилию Реннел реагирует, как на комара.

Я развёл руками.

— Больше в Вельне ехать не к кому.

— Некому, тут вы правы, — согласилась она и отставила кружку. — Тогда слушайте, что про него нужно знать. Первое: он никогда не смотрит товар, если ему сказали «посмотрите товар». Он смотрит, если ему сказали цифру и он захотел проверить. Второе: у него больная спина, и после полудня он злее. Третье — и это главное, — он терпеть не может, когда торгуются с середины. Называйте свою цену сразу и настоящую, иначе он закроется.

Я записал. Прямо там, на обороте Мавриного списка, между дёгтем и ремешком.

— Откуда вы всё это про него знаете?

— Я у него снадобья беру восемь лет, — пояснила Илария, разглядывая меня поверх кружки. — Барон, вы вообще имейте в виду: в уезде живёт полторы тысячи человек, и все всё про всех знают. Вы тут единственный, кто не знает ничего.

А вот это, — вставил Кеша с крыльца. — *Самое умное, что было произнесено в этой кухне за сорок лет. Запиши и это.*

Я записал и это.

— И ещё одно напоследок, — добавила Илария, вставая из-за стола. — Если он спросит, откуда вы знаете про сортировку пера, — не отвечайте «из книг».

— А почему не отвечать?

— Потому что вы врётё отвратительно, — объяснила она, завязывая тесёмки плаща. — Я вам это по-дружески.

Она уехала.

Мавра посмотрела ей вслед, потом на меня, потом опять вслед.

— Ну-ну, поглядим, — протянула она, глядя госте вслед.

— Мавра, ты что-то хочешь сказать?

— Я молчу, ничего я не говорю, — открестилась Мавра и вернулась к списку. — Я, между прочим, дёготь записала.

* * *

Выехали затемно, на телеге, с Пимом на облучке и с грузом под рогожей.

Вельна — полдня пути на север. Городок тысячи на четыре душ: рынок, две церкви, ратуша, четыре кабака, гарнизон в тридцать человек и полный набор контор, который положен уездному городу. Приличный город — Кальтен — в трёх днях, туда бы за настоящими деньгами, но на шесть дней я Урочище оставить не мог.

Дорога шла лесом, потом полем, потом опять лесом, и первые два часа Пим молчал так громко, что я не выдержал.

— Ну, выкладывай уже.

— Чего выкладывать-то? — отозвался Пим с облучка.

— Ты меня хочешь о чём-то спросить с самого выезда.

Пим засопел.

— Господин Тобиас, а вы в наёмниках были? — выговорил он наконец.

— В наёмниках я не был ни дня.

— А знакомых из них знаете? — не отставал Пим.

— И знакомых не знаю. А зачем тебе это?

— Я уйду в шестнадцать, как разрешат, — объявил он, перехватывая вожжи.

— И куда же ты уйдёшь?

— В вольный отряд. К южной границе. Там за поход платят два золотых, а если добыча — то доля.

Я подумал, что ответил бы на это взрослый и мудрый человек, и понял, что не знаю. У меня в питомнике была лаборантка, которая три года собиралась уйти в модельный бизнес, все ей объясняли, что это глупость, — она ушла, и всё у неё вышло прекрасно. А был Славик, который уходил в охранники, и его отговорили, и он до сих пор жалеет.

Я смотрел на дорогу.

— Хорошо, что ты уже решил.

Пим повернулся так резко, что телега вильнула.

— Чего же тут хорошего? — не понял он и обернулся так резко, что телега вильнула.

— Хорошо, что ты знаешь, чего хочешь. Большинство не знает.

— И вы не станете говорить, что это дурь? — усомнился Пим.

— Не стану, а скажу тебе другое. Тебе четырнадцать. До шестнадцати два года. За два года ты можешь стать в отряде обузой, а можешь стать человеком, за которого дерутся сотники. Разница только в том, чем ты эти два года занят.

— И чем мне эти два года заниматься? — уточнил он.

Я стал загибать пальцы.

— Учиться считать для начала. И писать. И читать следы. И перевязывать раны. Знаешь, кого в отряде берегут больше всех?

— И кого же там берегут? — заинтересовался Пим.
— Того, кто умеет зашить. Мечом махать умеют все, а зашить — один.
Пим долго молчал.
— А меня госпожа тен Овеск научит? — спросил он наконец.
— Ты у неё сам спроси. Она откажет только по делу.
— Так она же злая, — засомневался Пим.
— Она не злая, а уставшая. Это совсем разное.
* * *

В Вельну въехали к полудню.

Алхимический дом Дербена стоял на задах рыночной площади — низкое здание с зелёными ставнями и вечным запахом, от которого у меня заслезились глаза ещё во дворе.

Сам мастер Дербен вышел через четверть часа: маленький, круглый, в фартуке, прожжённом в семи местах, с руками, окрашенными до локтей в тёмно-фиолетовое.

Посмотрел на телегу. Потом на меня.

— Реннел, значит, — обронил он без всякого выражения и вытер руки о фартук.

— Барон дан Реннел.

— Барон, — согласился Дербен. — Ну-ну. Ваш дед мне четыре года возил гниль в мешках и требовал по книге. Я, милостивый государь, отказал ему на четвёртый раз и с тех пор сплю спокойно. Разворачивайте телегу.

— Посмотрите сначала.

— Мне не на что смотреть.

Я придержал рогожу.

— Мастер Дербен, дайте мне двадцать минут. Если гниль — разворачиваю и больше не приезжаю.

Он вздохнул так, как вздыхают люди со слишком мягким характером для их ремесла.

— Двадцать минут.

* * *

Мы сняли рогожу.

Дербен подошёл. Взял первый короб — с пером, разложенным по трём разрядам, — и открыл.

И замер.

Потом молча вынул перо из верхнего отделения. Поднёс к свету. Положил. Вынул из среднего. Поднёс. Положил.

— Кто сортировал? — спросил он.

— Мы с мальчишкой и сортировали.

— По какому признаку?

Я вынул перо из верхнего отделения.

— По поперечной исчерченности. По стрессовым полосам. Первый разряд — чистое, второй — до трёх полос, третий — ломкое, в дешёвый сбор.

Дербен поднял на меня глаза.

— Это знают человек шесть в королевстве, — выговорил он, не выпуская пера из пальцев. И все шестеро сидят в столичной гильдии и никому не рассказывают, потому что на этом мы, скупщики, и живём. Вы откуда знаете?

— Вычитал из книг.

Я отвёл взгляд.

— Из каких?

— Из редких.

Он посмотрел на меня ещё раз, очень внимательно, и я в который раз подумал, что вру откровенно.

— Показывайте дальше, — распорядился Дербен и шагнул к следующему коробу.

Дальше был мунличий подшёрсток — тот, что уцелел в глубине мешков, три фунта из семи. Дальше чешуя, отмытая от налёта, двести шестьдесят пластин, разложенных по толщине. Дальше сброшенный панцирный слой Гортензии, который я нашёл случайно и который, как выяснилось, стоил дороже всего остального вместе взятого, потому что из него тянут плёнку для линз.

И в самом конце, в отдельной коробочке, обложенное ватой, — четыре пера кисейницы. Дербен открыл коробочку.

И сел.

Прямо на бочку, стоявшую рядом, и просидел так с полминуты.

— Это у вас откуда, — выговорил он, не отрывая глаз от коробочки.

— С кисейницы.

— Кисейница дала перо?

Я прикрыл коробочку ладонью.

— Кисейница дала перо. Она перелиняла впервые за девять лет. Так бывает, когда животное перестаёт болеть.

Дербен закрыл коробочку. Открыл. Снова закрыл.

— Барон дан Реннел, пройдёте в дом, — выговорил он совершенно другим голосом и поднялся с бочки.

* * *

Торговались час сорок.

Я знал по книге, сколько платили деду. Дербен знал, что я знаю. Оба знали, что дедовы цены были ценами за гниль.

Сошлись на двадцати одном золотом восьми серебряках.

Двадцать один золотой. Против четырёхсот тридцати двух долга — плевков. Но это были первые деньги, которые Урочище заработало за четыре года, и расписку я подписывал с чувством, которого стыдился бы, если б кто видел.

— За кисейницу считаю отдельно, — предупредил Дербен, отсчитывая монеты. — Восемь золотых за четыре пера. Это грабёж с моей стороны, и вы это поймёте, как только заглянете в столичный прейскурант. Я честно предупреждаю, но деньги вам нужны сегодня.

— Нужны сегодня, вы правы.

Я поставил ладонь.

— Вот именно, — он придвинул столбик монет. — И слушайте меня, барон. Если она перелиняет ещё раз — не везите сюда. Везите в Кальтен, в дом Виттеринга, и просите вчетверо. Скажете, от меня.

— Почему вы это говорите?

Дербен вытер фиолетовые руки о фартук.

— Потому что я тридцать лет смотрю, как в Урочище всё дохнет, — отозвался он, вытирая фиолетовые руки о фартук. — И мне это надоело раньше, чем вам.

* * *

Ростовщический дом Кернелъ занимал угловое здание на площади, с настоящими стёклами в окнах и мальчиком-привратником, который смотрел на посетителей как на грязь.

Меня приняли сразу.

Это была первая неприятность. Когда должника, просрочившего на месяц, принимают сразу и без записи, значит, его ждали.

Конторщик — сухой, вежливый, с глазами, лишёнными всякого интереса, — выложил передо мной бумагу.

— Долговое обязательство барона Тобиаса дан Реннела на двести золотых, — зачитал он, разворачивая ко мне бумагу. — Уступлено купеческому консорциуму «Солнечный Кряж» четвёртого числа сего месяца. Уведомление вам направлено.

— Я хочу говорить с вашим управляющим.

— О чём именно вы хотите говорить? — уточнил конторщик.

— О перекредитовании. У меня появился доход.

Конторщик посмотрел на меня почти сочувственно.

— Барон, дом Кернель более не является вашим кредитором, — пояснил он и сложил руки на столе. — Мы не можем ссудить вас под ваш долг, потому что ваш долг нам не принадлежит.

— Тогда дайте под доход.

— Под какой доход?

Я положил на стол расписку Дербена.

Конторщик прочёл. Аккуратно вернул.

— Двадцать один золотой в квартал, — прочёл он и аккуратно вернул мне расписку. — При долге четыреста тридцать два и обременении в виде судебного пересмотра грамоты, назначенного на осень. Барон, я двадцать лет в этом ремесле. Мне вас жаль. Но я не дам вам ни медяка, и никто в этом городе не даст, потому что все уже знают.

— Что знают?

— Что «Солнечный Кряж» ставит на вашей земле курорт, — сообщил конторщик и поднялся, показывая, что разговор окончен. — И что земля будет свободна к зиме.

* * *

Она ждала меня на улице.

Я вышел из конторы, шурясь на солнце, и увидел у коновязи женщину в дорожном платье цвета мокрого песка, без единого украшения. Это отсутствие украшений стоило дороже, чем всё украшенное на площади.

Лет тридцать. Волосы убраны просто. Лицо приятное и совершенно спокойное.

— Барон дан Реннел?

— Он самый, к вашим услугам, — подтвердил я, шурясь на солнце.

— Иветта Марвейн, — она чуть наклонила голову. — Представляю консорциум «Солнечный Кряж». Не пугайтесь, я не за деньгами. Я здесь третий день и, признаться, отчаялась вас дождаться. Вы очень редко выезжаете.

— У меня хозяйство.

— Я об этом знаю, потому и хочу поговорить, — отозвалась она и отпустила повод. Уделите полчаса? Угощу обедом, и это не взятка, а просто обед: я с утра ничего не ела, а голодной говорить не умею.

Я хотел отказаться.

И понял, что если откажусь, то весь обратный путь буду придумывать, что бы я ей ответил.

Я убрал бумаги за пазуху.

— Полчаса я вам уделю.

* * *

Обедали в трактире у ратуши, в углу. Она действительно ела — не изображала, а ела, с аппетитом, и заказала себе пива, чем окончательно сбила меня с толку.

— Начну с неприятного, — предупредила она, отставив кружку. — Вы, вероятно, ждёте, что я стану вас пугать. Не стану. Дела обстоят так, что мне не нужно.

— Я в курсе, как обстоят дела.

— Тогда перейду к предложению, — девушка вытерла руки салфеткой. — Консорциум предлагает следующее. Первое: полное погашение всех ваших обязательств, включая недо-

имку по земельному сбору. Четыреста тридцать два золотых с мелочью, и вы выходите из этого чистым.

— А что у вас второе?

К своей кружке я не притронулся.

— Второе: единовременная выплата. Тысяча двести золотых. Это, барон, честная цена за землю, которую по грамоте продать нельзя. Мы платим не за землю. Мы платим за то, чтобы вы не мешали пересмотру.

— И третье, надо полагать, тоже есть?

— Третье понравится вам меньше всего, — предупредила Иветта и отложила салфетку.

— Потому что оно искреннее. Мы предлагаем вам должность. Смотритель зверинца в составе будущего курорта. Жалованье сто восемьдесят золотых в год, дом, штат из шести человек и полное содержание животных за наш счёт.

Я поставил кружку.

— Вы хотите оставить зверинец?

— Разумеется, оставить, — подтвердила она, и в её голосе впервые мелькнуло что-то живое. — Барон, вы, кажется, вообразили, что мы приедем и всё вырежем. Зачем? Живой зверинец с редкими тварями — лучшее, что может быть у курорта. Люди платят за то, чего не видели. Мы не собираемся уничтожать ваше собрание. Мы собираемся наконец его содержать. Как следует. С деньгами.

Она достала из сумки сложенный лист и развернула на столе.

Это был план. Начерченный хорошо, рукой человека, который умеет чертить.

Контур Урочища. Новая дорога, широкая, с юга. Постройки вдоль пруда. И в северной части, где сейчас шесть разваленных дворов, — четырнадцать вольеров, размеченных с приличными отступами и, судя по всему, с проточной водой.

Четырнадцать. У меня было шесть, и три из них текли.

— У вас слепой громоящер, — напомнила Иветта, ведя пальцем по чертежу. — Ему нужен подогреваемый настил, иначе он не переживёт ещё двух зим. Настил стоит сорок золотых. У вас их нет. У нас есть.

Я молчал.

— У вас одиннадцать лунных лисиц на два двора, — продолжала она. — Норма — восемь на такую площадь. Они грызутся, вы наверняка видели. Расселить — ещё один двор, тридцать золотых. У нас есть.

— Откуда вы знаете про лисиц?

— Я читала записи вашего деда, — пояснила она, не поднимая головы от плана. — Их продавали. В городе, за долги, четыре года назад. Купили мы. Барон, о вашем хозяйстве я знаю, вероятно, больше вашего, и это не угроза, это моя работа.

Я смотрел на план.

Самое паршивое было в том, что план был хороший. Я сам бы такой начертил, если бы мне дали денег.

— Что вы будете делать с перекрёстком? — спросил я.

Иветта чуть подняла брови.

— С каким ещё перекрёстком? — не поняла она.

— С перекрёстком. Одиннадцать камней. Тропы.

— А, вы про порталы, — сообразила она и отложила план. — Честно вам ответить?

— Честно, если можно.

— Не знаю я про них ничего, — призналась Иветта Марвейн. — Это не по моей части. Я занимаюсь курортом: гостиница, воды, зверинец, сорок рабочих мест на строительстве и потом около трёхсот постоянных. Порталами занимается другой отдел, и мне о нём не докладывают.

И вот это было хуже всего.

Потому что она не соврала. Я видел, что не соврала. Она действительно не знала — и её действительно не интересовало.

— Три сотни рабочих мест, значит.

— Триста двенадцать по расчёту, — уточнила она и свернула лист. — Барон, я понимаю, как это выглядит со стороны. Приехала тётка из консорциума и отнимает у сироты наследство. Но давайте я скажу, как это выглядит с моей стороны. В Урочище сейчас работают четыре человека, считая вас и мальчишку. Четыре. На полутора тысячах десятин. В Вельне тем временем без работы половина мужиков, потому что каменоломню закрыли. Я привезу им триста рабочих мест. А вы привезёте что?

Я долго молчал.

— Я привезу шестой вид.

Иветта посмотрела на меня.

И, к её чести, не засмеялась.

— Значит, вы уже посчитали, — определила она и застегнула плащ.

— Посчитал.

— Тогда вы понимаете, что у вас два месяца, погасшая тропа и, по нашим сведениям, двадцать один золотой в кармане, — она свернула план. — Предложение оставлю в силе до слушания. Не потому, что добрая. Потому что судиться дороже, чем платить.

Она встала и застегнула плащ.

— И последнее, — Иветта помедлила. — Ваша кисейница летает. Об этом говорит весь город. Я, признаться, не поверила, а сегодня посмотрела расписку у Дербена — он мой поставщик и увидела четыре пера первого разряда.

— И что?

— И теперь мне очень интересно, что вы за человек, — призналась она, разбирая поводья. — Это не комплимент, барон. Это осложнение. С людьми, которые ничего не могут, работать гораздо проще.

* * *

Обратно ехали в темноте.

Пим спал на мешках, свернувшись, и подрагивал во сне. В кошеле у меня было двадцать один золотой восемь серебряков — в двадцать раз больше, чем неделю назад, и в двадцать раз меньше, чем нужно.

Я правил и думал не про долг.

Я думал про подогреваемый настил за сорок золотых, которого у меня нет. Про то, что пеплогрив действительно не переживёт двух зим. И про то, что женщина, которая хочет забрать у меня землю, знала про этот настил, а я узнал от неё.

За поворотом, там, где дорога выходит из леса к болотной стороне, лошадь встала.

Просто встала и попятилась, всхрапнув.

Я натянул вожжи, слез и пошёл вперёд с фонарём.

Поперёк дороги, шагах в двадцати, была растянута верёвка.

Не поперёк даже — петлёй, по кругу, с оттяжками на колышки. В середине петли на земле лежало что-то тёмное, из чего торчали перья.

Силок. Большой. На крупную птицу.

Я поднял фонарь выше и увидел на ближнем колышке, у самой земли, вырезанное ножом.

Три чёрточки и кружок.

Глава 6

Первое, чего мне хотелось, это подойти и всё изорвать.

Я даже сделал шаг, но остановился на втором, потому что услышал у себя в голове очень отчётливый голос Тамары Львовны, которая тридцать один год заведовала ветблоком и никогда не повышала тона.

«Артём. Прежде чем трогать — опиши».

Я поставил фонарь на землю и потер руки.

Что ж, начнем.

* * *

Петля была растянута шагах в двадцати от опушки, на утоптанной прогалине у самой дороги. Верёвка — тонкая, плетёная в три пряди, не пеньковая: гладкая, скользкая, с восковой пропиткой. Такая не разбухает от росы и не скрипит.

Колышков шесть. Забиты не молотком, а вдавлены. Земля вокруг каждого не разбита, значит, ставили руками, налегая весом. Это долго. Это делает человек, который никуда не торопился и знал, что его не застанут.

В середине петли лежала приманка.

Я присел над ней.

Тушка. Куриная, ощипанная, разложенная неаккуратно, будто раскрытая книжка. И поверх неё — щепоть чего-то, что в свете фонаря казалось мне знакомым.

Я взял двумя пальцами и растёр.

Подшёрсток. Мунличий.

Не выгоревший. Свежий, ещё с отливом — из тех, что светятся.

Я сидел на корточках и очень медленно понимал, что означает щепоть свежего мунличьего подшёрстка в двадцати шагах от моей дороги.

Означала она вот что. У меня одиннадцать мунликов, все одиннадцать в двух дворах за оградой, и никто из них не линяет прямо сейчас, потому что линька у них в конце лета, и я это знал точно, потому что три недели назад перерыл склад до дна.

Значит, подшёрсток взяли не с моего двора.

Значит, где-то ходят чужие мунлики.

Значит, кто-то знает, где.

— Господин Тобиас, вы чего там? — окликнул Пим с телеги сиплым со сна голосом.

— Спи давай, ничего страшного.

— Так чего вы там нашли-то? — не унимался он.

— Силок нашёл, спи, я сейчас вернусь.

Он, конечно, не заснул. Он слез и подошёл, кутаясь, и стоял у меня за плечом, и я поймал себя на том, что рад ему.

— Пим. Смотри и запоминай, потом расскажешь Гушу. Верёвка вощёная, три пряди. Шесть колышков, вдавлены. Приманка — курица и мунличья шерсть, свежая. Повтори.

Он повторил. Со второго раза точно.

— Рвать его будем? — деловито уточнил Пим, разглядывая петлю.

— Рвать не будем, оставим как есть.

— Да почему же не будем?! — возмутился он.

— Потому что если мы порвём, он поймёт, что мы знаем, и переставит куда-нибудь, где мы не найдём, — я поднялся, отряхивая колени. — А так он придёт проверять.

* * *

Домой мы приехали в четвёртом часу, и Мавра открыла раньше, чем я постучал.

Она стояла в дверях со свечой, в шали поверх ночного, и по её лицу было понятно, что она не ложилась.

— Ну, чего привёз? — потребовала Мавра, не отходя от порога.

Я слез с телеги.

— Двадцать один золотой восемь серебряков.

Мавра моргнула.

— Сколько-сколько ты привёз? — переспросила она.

— Двадцать один золотой.

Я высыпал ей на ладонь кошель.

Она посторонилась, пропуская нас, взяла у Пима мешок и только на кухне, поставив свечу, выговорила:

— Двадцать один золотой, значит.

Я стянул мокрый плащ.

— Мавра, это очень мало.

— Это двадцать один золотой, — отчеканила Мавра таким тоном, каким объявляют о наследстве. — Твой дед привозил семь. Восемь один раз. Садись, я щи разогрею.

— Мавра, сейчас четыре утра.

— Значит, будет ранний завтрак, — распорядилась она и загремела чугуном. — Дёготь-то купил?

— Купил, как ты велела.

— Ну хоть что-то в этом доме делается по-людски, — проворчала Мавра, не оборачиваясь.

Она загремела чугуном, и я вдруг понял, что вот это её ворчание и есть то, ради чего люди возвращаются домой.

Я сел к столу.

— Мавра, я должен тебе кое в чём признаться.

— Ну, признавайся, чего уж там, — разрешила она.

— Соль я забыл купить.

— Так я и знала, что забудешь, — отозвалась Мавра и поставила передо мной солонку.

* * *

Совет собрался утром, и опять сам собой.

Гуш пришёл, потому что за ним послали. Илария приехала, потому что был день переязки. Пим сидел на лавке с таким лицом, будто его допустили в совет старейшин, что в принципе было не так далеко от истины.

Кеша лежал в дверях, положив башку на порог. Мавра сделала вид, что его нет, и переступала через морду с полным безразличием, а он делал вид, что не замечает, и это у них, судя по всему, был отработанный за сорок лет ритуал.

Я выложил на стол щепоть подшёрстка.

— Мунличий он, — определил Гуш, растерев щепоть между пальцами.

— А свежий или лежалый?

Гуш взял, растёр, понюхал.

— Свежий, дней десять ему, — отозвался он и понюхал ладонь.

— Но наши-то сейчас не линяют.

— Наши в конце лета линяют, — согласился Гуш.

— Тогда откуда он взялся?

Гуш молчал долго. Потом отозвался:

— Взялся он с болота.

Все посмотрели на него.

— Гуш, на болоте есть мунлики?

— Есть там мунлики, — подтвердил он и кивнул в сторону ольшаника. — Дикие, немного. Ходят по кромке.

Я закрыл глаза.

Три недели. Три недели я живу в этом хозяйстве, веду племенную книгу, считаю виды, у меня пять из шести — и только сейчас, случайно, из-за силка на дороге, я узнаю, что за оградой ходят дикие мунлики.

— Гуш, почему ты мне про них не говорил?

— Так вы и не спрашивали, — отозвался он с искренним недоумением.

Он прав, — заметил Кеша с порога. — Он совершенно прав, и это, Реннел, твоя вина целиком. Ты составил опись имущества и ни разу не составил описи того, что знают твои люди.

Я взял племенную книгу и на чистом развороте написал сверху: «Что знает Гуш».

И потом сорок минут задавал вопросы.

* * *

К обеду у меня была первая карта окрестностей, начерченная со слов полутролля, и от неё волосы вставали дыбом.

Дикие мунлики по болотной кромке — «немного, штук пять, ходят».

Барсучьего типа зверь в северном овраге, которого Гуш звал «копач» и который, судя по описанию, вообще неизвестно кто.

Гнёзда чего-то крупного на старых соснах за прудом — «раньше были, теперь нет, лет пять как».

И, главное, — тропа. Не магическая. Обычная, натопанная человеком тона вела вдоль болотной стороны, там, где ограды нет полверсты.

Я вёл пальцем по чертежу.

— И кто же по ней ходит?

— Этого я не знаю, — признал Гуш.

— А часто по ней ходят?

— Летом чаще ходят, — отозвался он.

— Гуш, а сам ты по ней ходил?

— Ходил, и не раз, — подтвердил он.

— И куда же она ведёт?

— Ведёт она к сараю, — отозвался Гуш.

Пауза.

— К какому ещё сараю?

— К тому, что за болотом, — пояснил Гуш. — Старый он. Не наш.

Илария медленно поставила кружку.

— Погодите, тут что-то не сходится, — вмешалась девушка, медленно поставив кружку. — За болотом ничьей земли нет. Там ваша земля. Полторы тысячи десятин, я границу знаю, у меня отцовский надел встык.

Я обернулся к нему.

— Гуш, как это понимать?

— Земля-то ваша, — согласился Гуш и развёл ладонями. — А сарай не ваш.

* * *

Мавра в этот момент чистила репу.

Она чистила её с самого начала совета, сидя у окна, и не проронила ни слова, и я про неё, честно говоря, забыл, потому что она умела быть в комнате незаметно, когда хотела.

Нож у неё дёрнулся.

Я услышал — не увидел. Услышал, что ритм сбился: скрип, скрип, скрип, пауза, скрип.

— Мавра, у меня к тебе вопрос.

— Ну, спрашивай, коли вопрос, — отозвалась она, не поднимая головы от репы.
— Ты про этот сарай что-нибудь знаешь?
— Мало ли сараев по округе стоит, — обронила Мавра, не оборачиваясь.
— Мавра, я спрашиваю серьёзно.
— Господин барон, я в ольшаник не хожу, — отчеканила она, и я мысленно поставил галочку в третий раз за месяц, — Мне семьдесят три года. У меня ноги.
— Я не спрашивал, ходишь ли ты. Я спросил, знаешь ли.
Тишина.
Скрип, скрип.
— Знаю, что стоит, — уступила Мавра и отложила нож. — Стоял он всегда. Егерский он. Все повернулись к ней.
— В каком смысле егерский?
— В самом прямом, — отозвалась она и собрала очистки в подол. — При твоём прадеде егерь был штатный. При деде тоже. Сарай ему поставили, чтоб он с болота через весь парк со зверьём не таскался.
— Как его звали?
Мавра встала, ссыпала очистки в ведро, вытерла руки о передник.
И пошла к печи.
— Мавра, я задал тебе вопрос.
— Репа сама себя не сварит, — отрезала Мавра и понесла ведро к двери.
Реннел, — предупредил Кеша с порога очень тихо. — *Не сейчас*.
— Почему не сейчас?
Потому что если ты дождёшься её при чужих, ты не получишь ответа никогда, — пояснил дракон. — *А ты его хочешь получить*.
Илария смотрела то на меня, то на Мавру, то на пустой дверной проём. И по её лицу я видел, что вопросов у неё накопилось уже гораздо больше, чем про сарай.
— Тобиас, вы сейчас с кем разговаривали? — осторожно поинтересовалась Илария.
— С управляющим, я же говорил.
— С тем самым невидимкой? — уточнила она.
— С ним самым.
Я придвинул к себе кружку.
Илария медленно кивнула.
— Хорошо, ладно, — сдалась она и поднялась из-за стола. — Я сделаю вид, что это нормально, потому что у меня перевязка, а потом мы с вами обязательно к этому вернёмся.
* * *
Пошли втроём: я, Гуш и Илария.
Пима я не взял, и это был первый настоящий скандал в моей карьере барона.
— Я с вами тоже пойду! — объявил Пим, встав в дверях.
— Никуда ты не пойдёшь.
— Я же силок видел, я всё запомнил! — не сдавался он.
Я отложил карту.
— Пим, послушай меня очень внимательно. Если там человек и если он с оружием, то нас трое взрослых и один мальчишка. Взрослые будут думать не про человека, а про мальчишку. Мы будем хуже соображать. Ты нас ослабишь, а не усилишь.
— Да не буду я вам мешать! — выкрикнул он.
— Будешь мешать самым своим присутствием.
Он развернулся и ушёл, хлопнув дверью так, что с притолоки посыпалось.
— Жёстко вы с ним, — заметила Илария, глядя на хлопнувшую дверь.
— Зато правдиво.

Я стал сворачивать карту.

— Одно другому не мешает, — обронила она. — Бывает, что и помогает.

Я поймал себя на том, что улыбаюсь, и сразу же перестал.

* * *

Шли часа полтора.

Болотная сторона Урочища — это не болото в смысле трясины, а мокрый ольшаник, с кочками, с чёрной водой в понижениях и с комарами, которые ждали нас, кажется, лично.

Ограда там кончалась. Просто кончалась: столб, ещё столб, а потом пролом, и дальше уже ничего, только пеньки от столбов, вынутых, судя по всему, лет двадцать назад и не вкопанных обратно.

— Тут и правда полверсты, — выговорила Илария, остановившись у последнего столба. — Я думала, вы преувеличиваете.

— Я и сам не знал. Увидел на карте Гуш два часа назад.

Тропа шла вдоль ольшаника, и была она хорошая. Утоптанная. Не заросшая.

Гуш шёл первым и время от времени присаживался.

— Тут прошли двое, — определил Гуш, присев у одного места. — Один тяжёлый, один лёгкий. Тяжёлый в сапогах с подковкой, лёгкий босой.

Я присел рядом.

— Совсем босой?

— Или в чунях, что-то мягкое, — поправился он и обвёл отпечаток пальцем.

— А следы свежие?

— Позавчерашние они, — отозвался Гуш.

Через полверсты он присел ещё раз и долго молчал.

— Что ты там увидел?

— Собака прошла, — начал Гуш и тут же поправился: — Нет. Не собака.

Он развёл пальцами над отпечатком, показывая ширину.

— Зверь крупный, — добавил полутроль. — И когти не втянуты. У собак когти в след ложатся. И у этой ложатся. Но след круглый.

Я присел рядом.

Отпечаток был размером с мою ладонь. Круглый, широкий, с четырьмя пальцами и отчётливыми бороздками от когтей.

Я никогда такого не видел.

И вот тут у меня в первый раз за весь поход по-настоящему похолодело в животе — не от страха, а от профессионального: я двадцать лет смотрю на следы, и я не могу опознать вид.

* * *

Сарай стоял на сухом взгорке, за ольшаником, шагах в трёхстах от границы надела тен Овесков.

Небольшой. Крепкий. С новой дранкой на крыше — заплата года на два, не больше. Дверь на кованых петлях, и петли смазанные, я это увидел с двадцати шагов, потому что они не ржавые.

Вокруг — четыре клетки. Пустые, чистые, перевёрнутые вверх дном, чтобы не набиралась вода.

Я остановился и поднял руку.

Мы стояли за кустами минут десять. Никого.

— Гуш, внутри кто-нибудь есть?

Гуш втянул воздух.

— Зверя нет и человека нет, — отозвался он, втянув воздух. — Пахло вчера.

— А чем именно пахло?

— Кровью пахло, немного, — перечислил Гуш. — И салом.

Я подошёл к двери.

Замка не было. Была вертушка — деревянная, снаружи, и запирала она дверь снаружи, а не изнутри, что означало ровно одно: тут держат не людей.

Я открыл.

Внутри оказалось чисто.

Вот что меня подкосило больше всего — помещение было убрано. Пол выметен. Вдоль стены стеллаж, на стеллаже в порядке: мотки верёвки той самой, вошёной, трёх толщин. Колышки, связанные по шесть. Сетка, свёрнутая правильно, узлом наружу. Ошейники, размеров пять, от кошачьего до собачьего. Кожаные намордники. Стекланные банки с притёртыми крышками.

И на верхней полке — стопка тетрадей.

Я взял верхнюю.

Открыл.

И минуты две стоял столбом, как стоял три недели назад над приходной книгой Кеши.

Потому что это был журнал.

Дата. Место. Что взято. Пол, примерный возраст, состояние. Куда сдано. Сколько получено.

Аккуратным, мелким, страшно разборчивым почерком.

— Тобиас, вы побелели, — забеспокоилась Илария от двери.

Я протянул ей тетрадь.

Она читала долго. Потом подняла глаза.

— Это ведёт человек, который любит своё дело, — определила она, дочитав страницу.

Я забрал тетрадь обратно.

— В этом-то и вся беда.

— Мне от этого нехорошо, — призналась Илария.

— Как и мне, — ответил я, не сводя глаз со страниц тетради.

Я полез за следующей.

Я пролистал назад. Тетрадь была начата в прошлом году. На стеллаже лежало ещё восемь.

Я взял самую нижнюю. Открыл первую страницу.

Дата стояла двадцатидвухлетней давности.

И почерк был другой.

* * *

Мы просидели в засаде до темноты.

Точнее, до темноты просидели я и Гуш. Иларию я отправил домой в шестом часу, и это был второй скандал за день, и он был потяжелее первого.

— Никуда я не поеду, — отрезала она, не выпуская сумки.

— Илария, у вас дорога на надел через ольшаник в темноте.

— Я двенадцать лет по этому ольшанику езжу к вашим зверям в темноте! — вспыхнула она.

— И у вас с собой сумка на восемнадцать золотых.

Я кивнул на её плечо.

— Которую вы восстанавливать будете два года. Если тут ходит человек, который берёт живьём, и он вас встретит на тропе — вы отдадите ему сумку и будете правы. А потом два года не сможете лечить.

Она молчала секунд десять.

— Это подлый аргумент, — выговорила она после долгого молчания.

— Зато верный.

— Он и подлый, и верный сразу, — согласилась Илария и закинула сумку на плечо. — Тобиас. Если вы там что-то без меня решите, я вам этого не прощу, — добавила она, а затем уехала.

* * *

Он пришёл в одиннадцатом часу.

Мы с Гушем сидели за поваленной ольхой в сорока шагах от сарая, и я уже дважды успел подумать, что это была плохая идея, когда Гуш положил мне ладонь на плечо. Просто положил. Ладонь у него была размером с лопату, и под ней я перестал шевелиться очень естественно.

По тропе шёл человек.

Не крался. Шёл спокойно, вразвалку, и негромко насвистывал.

Немолодой — я это понял по походке раньше, чем разглядел. Невысокий, жилистый, в короткой куртке, с мотком верёвки на плече и с мешком. Из мешка ничего не торчало.

Он дошёл до сарая, откинул вертушку, зашёл. Внутри стукнуло, звякнуло.

И оттуда, изнутри, очень спокойно окликнули:

— Ну заходите уже, барон. Комаров-то сколько.

* * *

Я вошёл.

Гуш вошёл следом и заслонил дверной проём, и это было настолько внушительно, что я почувствовал себя увереннее, чем следовало.

Человек сидел на чурбаке и разматывал верёвку. При свете лампы ему оказалось лет пятьдесят пять. Обветренное лицо, седая щетина, живые весёлые глаза и очень опытные руки — я на них я всегда смотрел первым делом.

— Фойт я, ловчий, — представился он, не вставая и не переставая разматывать верёвку. — Можно просто Фойт, меня тут все так зовут.

— Тобиас дан Реннел.

Я остался стоять в дверях.

— Знаю я, кто вы, уже три недели, — отозвался Фойт. Вы кисейницу на крыло подняли, про это уже в Кальтене знают.

— Вы ставите силки на моей земле.

— Ставлю, и не первый год, — согласился он охотно.

— И вы это вот так спокойно признаёте.

— А чего мне не признавать? — удивился Фойт и отложил моток. — Барон, вы сейчас будете говорить про грамоту и заповедное собрание, а я вам сразу скажу: я вашу грамоту наизусть помню. Там сказано, что нельзя брать зверя из собрания. Из собрания — это который в вольере. А который по болоту сам бегаёт, тот ничей, на него королевского запрета нету, я четырежды у стряпчего спрашивал, и вот тут, — он хлопнул по нагрудному карману, — у меня выписка.

Я стоял и молчал.

Потому что он был прав.

Я три недели читал грамоту и точно знал, что он прав.

Я сел на второй чурбак.

— Вы двадцать два года берёте зверя с моей земли.

— Я двадцать два года веду промысел на ничьей живности, — поправил Фойт. — Разница, барон, в одно слово, а стоит она девять лет каторги.

— Тетради на полке ваши?

— Верхние восемь мои, — подтвердил он.

— А самая нижняя чья?

Фойт перестал улыбаться.

Не резко. Просто улыбка ушла с лица, как вода в песок, и стало видно, что глаза у него не весёлые, а внимательные, и такими они, наверное, были всегда.

— Нижняя не моя, — выговорил он и перестал улыбаться.

— А чья же она тогда?

— Барон, давайте я вам сперва предложу дело, — свернул Фойт, а потом мы про нижнюю. Потому что после того как вы прочитаете, многое может измениться.

* * *

Я сел на второй чурбак.

Гуш остался в дверях.

— Говорите, я слушаю.

— Вам нужен шестой вид, — начал Фойт и подался вперёд.

Я не сумел не дрогнуть, и он это заметил.

— Не удивляйтесь. В уезде полторы тысячи душ, барон, и все всё про всех знают. Я знаю, что у вас девять видов, из них четыре по одному. Я знаю, что вам надо шесть. И я знаю, — он поднял палец. — Чего вы не знаете.

— И чего же я не знаю?

— Что мунлики по болоту — не ваши, — объявил он.

— В каком смысле не мои?

— В самом прямом смысле, — отозвался Фойт и наклонился ближе. — Барон, ваши лунные лисы в вольере — они рыжие в подпал, с зелёным по краю. Так?

— Всё верно, рыжие в подпал.

— А болотные серые, с голубым по краю, — договорил он и откинулся назад.

Я замер.

Я поднялся с чурбака.

— Это другой подвид.

— Это чего такое? — не понял Фойт.

— Это, если по-простому, может быть отдельный вид.

Фойт откинулся и хлопнул себя по колену.

— Ну вот и договорились, — отозвался он с явным удовольствием и хлопнул себя по колену. — А я двадцать два года это знаю, и никому не сказал, потому что кому оно надо. Скупщику всё равно, он по весу берёт.

Я сидел и лихорадочно считал.

Отдельный вид. На моей земле. Дикий, значит, размножается, значит, полноценный. Если отловить пару — не одну особь, а пару, — и посадить в двор...

Это шестой вид.

Без тропы. Без экспедиции. Без денег.

Я снова сел.

— Что вы хотите взамен?

— Вот это разумный вопрос, — одобрил Фойт и отложил верёвку окончательно. — Хочу договор. Я вам ловлю пару, живых, целых, без единой ссадины. Я барон, работаю чисто, у меня падёж полтора процента, спросите кого хотите. Вы мне за это даёте право промысла по болотной кромке на десять лет. Письменно. С печатью.

— То есть я вам узакониваю то, что вы и так делаете.

— То есть вы мне даёте бумагу, с которой меня не повесят, когда сюда придут новые хозяева, — поправил Фойт очень спокойно. — Барон, я не дурак. Курорт я переживу хуже, чем вас. У вас я хоть по кромке хожу. У них тут будет забор и стража.

Я задумался.

Долго — минуты две, наверное, и всё это время он сидел и не торопил, и вот это молчание было хуже любого напора.

Я поднял на него глаза.

— Нет, такого договора не будет.

Фойт поднял брови.

— Обоснуйте отказ, — потребовал он, подняв брови.

Я подался вперёд.

— Обосную, слушайте. Если это отдельный вид, то на болоте их пять. Пять, Фойт, вы сами говорили Гушу — «немного, штук пять». Вид из пяти особей. Вы у него двадцать два года берёте.

— Я беру по одному в три года.

— А их всего пять.

Я загнул палец.

— Значит, вы у него забрали семь. Значит, их было двенадцать.

Фойт молчал.

— Права промысла я вам не дам. Ни на десять лет, ни на год.

— Тогда я буду брать без бумаги.

— Будете. А я поставлю ограду. Полверсты. Не завтра — у меня двадцать один золотой, — но поставлю.

— На это надо золотых сто.

— Я это прекрасно знаю.

— У вас их нет.

— Пока нет, — я спокойно пожал плечами.

Фойт смотрел на меня и, кажется, впервые за разговор соображал всерьёз.

— Знаете, барон, а ведь вы дурак, — заключил он наконец и почесал щетину.

— Возможно.

— Точно дурак. Вам сейчас нужен шестой вид, и я его вам приношу на блюде, а вы отказываетесь ради того, чтобы через двадцать лет их было пятнадцать вместо пяти.

— Именно ради этого.

— Через двадцать лет тут будет курорт, — напомнил он.

— Может, и будет. Но если я вам сегодня подпишу бумагу, то он тут будет точно. Потому что смысла держать эту землю за собой уже не будет никакого.

Фойт долго на меня смотрел.

Потом встал, взял с полки нижнюю тетрадь и положил мне на колени.

— Ладно, будь по-вашему, — уступил он и снял с полки нижнюю тетрадь. — Тогда про нижнюю.

* * *

— Я в этом сарае с тридцати лет, — начал Фойт, положив тетрадь мне на колени. — А до меня тут двадцать с лишним лет сидел другой человек, и он меня учил. Всему, что я умею. Верёвки вощёные — его. Клеймо — его, три чёрточки и кружок, я его на своём оставил, потому что он так велел, а я к нему хорошо относился.

— Кто он был такой?

— Он служил в Урочище, — отозвался Фойт. — Егерем. Штатным, при вашем прадеде и деде. Жалованье, дом, всё как положено.

Я закрыл глаза.

Свой. Внутри ограды. С полным правом ходить где угодно.

— Он стрелял по вашим зверям, барон, — продолжил Фойт, не глядя на меня. — Не всегда убивал. Ему живьём было нужно, а живьём с болтом — это как повезёт. Кисейниц он взял четырёх, я знаю, потому что в тетради записано.

— Зачем ему это было нужно?

— Затем же, зачем все. Деньги.

— Ему платили за это в Урочище!

— Ему платили в Урочище восемь золотых в год, — напомнил Фойт и поднял на меня глаза. — А за одну кисейницу в Кальтене давали шестьдесят.

Я сидел с чужой тетрадью на коленях.

— Что с ним стало? — спросил я.

— Ушёл он отсюда, — отозвался Фойт. — Двадцать два года назад, зимой. Внезапно. Мне сарай оставил и всё, что тут есть, и велел не искать.

— Он умер, как вы думаете?

— Этого я не знаю, — признал Фойт и развёл руками. — Барон, я его двадцать два года не видел и не искал, как велено. Но вот что я вам скажу, раз уж пошло, — он помолчал. — Ушёл он не сам по себе. Ушёл, потому что кто-то в вашем доме про него узнал.

— И кто же про него узнал?

Фойт посмотрел на меня очень внимательно.

— А вот это вы спросите дома, — посоветовал он и поднялся с чурбака. — У вас там, барон, две живые души, которые то время застали. Дракон ваш и старуха.

* * *

Обратно шли молча, и только когда впереди сквозь ольшаник показался огонёк в кухонном окне, Гуш вдруг остановился.

— Господин, я скажу одну вещь, — начал он.

— Говори, что там у тебя.

— Правильно, что не подписали.

Я остановился.

За три недели это была самая длинная одобрительная речь, которую я от него слышал, и честно говоря, мне от неё стало легче, чем от двадцати одного золотого.

— Спасибо, Гуш.

— Только ограду ставить надо, — добавил он, шагая дальше.

— Надо, я знаю.

— Сто золотых.

— Я это прекрасно знаю.

Гуш думал шагов десять.

— У Ксаверия они есть, — обронил Гуш, не сбавляя шага.

Я споткнулся.

Я остановился.

— Что ты сейчас сказал?

— Я говорю, у Ксаверия они есть, — повторил Гуш терпеливо. — В подвале, под зимовником. Он туда ходит.

Я стоял в мокром ольшанике, в темноте, и в кухонном окне впереди горел огонёк, и в этом окне сидела семидесятилетняя женщина, которая двадцать два года назад что-то узнала про егеря с тремя чёрточками и кружком.

— Гуш, а ты откуда знаешь про подвал?

— Так я ему там дверь чинил, — отозвался Гуш и пошёл дальше. — В позапрошлом году.

Глава 7

Я ждал четыре дня.

Не из деликатности. Просто дом три недели работал так, что мы с Маврой ни разу не оказались в одной комнате наедине дольше, чем на две минуты: то Пим, то Гуш, то Илария, то надо разгружать, то надо перевязывать, то кто-то приезжает.

За эти четыре дня я, надо признаться, извёлся.

Я двадцать раз проговорил про себя, как начну. Заходов у меня набралось четыре, и все четыре были плохие.

Первый: спросить прямо. «Мавра, кто такой Хольт?» Отпадал сразу — она бы ушла к печи, и всё.

Второй: зайти через Фойта. «Мне Фойт рассказал, что...» отпадал, потому что перекладывать на Фойта было подло, а она бы это мгновенно поняла.

Третий: положить перед ней обломок и промолчать. Отпадал, потому что это дешёвый приём, который я видел в кино и который в жизни делает только хуже.

Четвёртый — тот, который я в итоге и применил и придумал его не сам.

Его придумал Кеша, причём, как обычно, не собираясь помогать.

Реннел, ты четвёртый вечер ходишь по кабинету.

— Хожу четвёртый вечер.

Ты собираешься её допрашивать.

— Я собираюсь с ней просто поговорить.

Я всё-таки остановился.

Ты собираешься её допрашивать, — не согласился Ксаверий Аргентум Третий. — И она это увидит на первой фразе, потому что ты, Реннел, за месяц не научился врать даже слегка. И тогда ты получишь молчание, и на этом всё кончится, потому что второй раз она к этому разговору не подойдёт.

— Ксаверий, ты пятый день слушаешь, как я хожу, и молчишь.

Я обдумывал, стоит ли вмешиваться.

— И что же ты надумал?

Что вмешаться стоит, — отозвался дракон. — Потому что ты всё испортишь.

Он потянулся и лёг поудобнее на пороге.

Слушай. Ты хочешь получить от неё правду. За правду надо платить, а тебе платить нечем: денег у тебя нет, услуг ты ей не оказал, положение у тебя такое, что она тебя скорее жалеет. Значит, платить придётся тем, что у тебя есть.

— И что же у меня есть?

Ты знаешь про вино, — напомнил Кеша.

Я остановился посреди кабинета.

— Это самый настоящий шантаж.

Это, Реннел, ровно наоборот, — возразил дракон. — Шантаж — это когда ты приходишь и говоришь: я знаю про вино, рассказывай про Хольта. А я предлагаю тебе прийти и сказать: я знаю про вино и мне всё равно.

— И что это меняет?

И тогда у неё в руках окажется вещь, которую она сорок семь лет не получала ни от одного Реннела, — пояснил Ксаверий Аргентум Третий. — Право не оправдываться. Твой дед за пропавшую бутылку устроил бы разбирательство. Твой прадед высчитал бы из жалованья.

Он зевнул.

Впрочем, поступай как знаешь. Я в вашем доме на птичьих правах, - сказал он и я усмехнулся.

Про себя.

* * *

На четвёртый день сошлось. Пим ушёл с Гушем ставить новые столбы — не полверсты, конечно, а первые двадцать сажений, потому что на двадцать сажений у нас лес был свой, а дальше надо было покупать. Илария уехала к отцу на два дня.

Я дождался, пока стемнеет, спустился в погреб и взял бутылку.

Потом подумал и взял вторую.

* * *

Мавра сидела на кухне и штопала. Не моё что-то — своё, серое, шерстяное.

Я поставил обе бутылки на стол.

Она посмотрела на них поверх очков — они у неё были, как выяснилось позже, дедовы, в проволочной оправе, и надевала она их только когда никого нет.

— Это у тебя чего такое? — поинтересовалась она, глядя поверх очков.

— Это у меня вино, две бутылки.

— Вижу, что вино, — не приняла она ответа. — Я спрашиваю, чего оно тут делает.

Я сел напротив.

— Пить его будем, вот чего.

Мавра отложила штопку.

— Господин барон, я вам сейчас всё объясню, — начала она, откладывая штопку.

Я подвинул к ней кружку.

— Мавра, объяснять ничего не надо. В описи у меня стояло четырнадцать бутылок. Потом стало одиннадцать. Потом девять. Я считаю каждую неделю, потому что я вообще всё считаю, у меня это профессиональное.

Она сидела очень прямо.

— И вот что я тебе скажу. Я тебя ни разу не спросил. И не собираюсь. Мне на эти пять бутылок наплевать, у меня в этом доме за месяц пропало на пять золотых шерсти и семь ложек, и их к слову, унесли лисы, а не ты. Я просто больше не хочу, чтобы ты ходила в погреб тайком в семьдесят три года по той лестнице. Она гнилая. Я по ней два раза чуть не улетел, а мне двадцать один.

Мавра молчала.

Потом сняла очки, аккуратно сложила и положила рядом со штопкой.

— Наливай, чего уж там, — разрешила она и села к столу.

* * *

Первую кружку выпили молча.

Вино было плохое. Не кислое — просто плоское. Дешёвое вино двадцатилетней выдержки, которая ему не помогла, потому что помогать было нечему.

— Дрянь у тебя вино, — определила Мавра, отставив кружку.

— Дрянь, тут и спорить нечего.

— Твой дед его бочками брал, — припомнила она. Я ему говорила: возьми меньше и лучше. Он говорил: гостям сойдёт.

Я разлил по второй.

— И много у него бывало гостей?

— В последние годы никого не бывало, — ответила она. — Так и стоит с тех пор.

— Мавра, егеря звали Хольт?

Глаз от кружки я не поднял.

Она поставила кружку.

Не разлила. Просто поставила и посмотрела на меня очень спокойно, и я понял, что она этого разговора ждала все четыре дня, и наверное, все двадцать два года.

— Кто тебе это сказал? — спросила она, поставив кружку.

— Никто мне не говорил. В нижней тетради на первой странице написано «Х.», и я четыре дня перебирал имена, какие слышал в доме. Ты один раз обмолвилась. Месяц назад, когда рассказывала, кто в каком флигеле жил.

— Не помню я такого за собой, — усомнилась Мавра.

— Ты обронила: «в дальнем флигеле Хольтовы жили». И сразу перевела на другое.

Мавра долго молчала.

— Хольт, всё верно, — уступила она наконец и сложила очки. — Йорген Хольт.

— Кем он тебе приходился?

— Мужем он мне приходился, — нехотя ответила Мавра и тяжело вздохнула.

* * *

Я налил по третьей, потому что надо было чем-то занять руки.

— Мне двадцать четыре было, когда я сюда пришла, — начала Мавра, обхватив кружку обеими руками. — В судомойки. Он тут уже служил, лет пять. Егерь при бароне, восемь золотых в год, форма казённая, флигель, дрова. По тем временам — жених хоть куда, за него полдеревни бы пошло.

— И вы с ним поженились.

— В том же году и поженились, — подтвердила она и отпила. — Он был хороший, мальчик мой. Ты сейчас не поверишь, но он был хороший. Руки золотые. Зверя чувствовал, как ты. Может, лучше — он же с малолетства в лесу.

— А сын у вас был?

— Сын был, через два года, — отозвалась Мавра. — Мартин. Отец Пимки.

— И что с ним?

Ответ я уже понимал.

— Помер он, — отозвалась Мавра просто и разгладила скатерть. — Восемь лет назад. Грудная болезнь. Жена его через год за другого пошла, а Пимку мне оставила, потому что новому Пимка не сдался. Так что не жалею меня, я это давно отжалела.

Я молчал.

— Ты спрашивай, чего пришёл, — подтолкнула Мавра. — Ты ж не про Мартина сюда ответы получать явился.

Я кинул.

— Когда ты про него узнала?

— На шестнадцатый год узнала, — отозвалась Мавра. — Он к тому времени уже пятнадцать лет промышлял. Пятнадцать, мальчик мой. Я в одном доме с ним спала.

— И как ты это узнала?

— Узнала дурачки, — хмыкнула она и подлила себе сама. — Он мне на именины подвеску принёс. Серебряную, с камушком. Я обрадовалась как дура, а потом посчитала. У него восемь золотых в год, из них шесть на дом. Подвеска — золотой с четвертью. Я ему говорю: откуда? Он говорит: скопил.

— И ты ему поверила?

— И я ему поверила, — подтвердила Мавра. — Полгода верила. А потом он мне на Мартиновы именины сапоги справил. Хорошие сапоги, барон, ты таких не носишь.

Она допила кружку и отставила.

— Тогда я и пошла в его флигель, когда он на болоте был. И нашла тетрадь.

— Ты разве умеешь читать?

— Я, мальчик мой, тридцать лет в этом доме приходные списки веду, — отчеканила Мавра с достоинством. — Конечно, умею.

— И что ты тогда сделала?

— А вот тут ты будешь мной недоволен, — предупредила Мавра.

— Я тебе не судья, Мавра.

— Зато ты мне хозяин, — не согласилась она и посмотрела мне в лицо. — Я ничего не сделала. Шесть лет.

Я не нашёл, что ответить.

— Шесть лет, — повторила Мавра. — Я знала и молчала. И ела с этих денег, и сына на них растила, и на Мартине была рубаха, купленная за кисейницу. Так что ты, барон, если хочешь меня выгнать — выгоняй, я в своём праве не буду спорить.

— Мавра, никто тебя не гонит.

— Я говорю как есть, не перебивай, — отрезала она.

— Мавра, почему ты шесть лет молчала?

Она смотрела в кружку.

— Потому что его бы повесили, — отозвалась она, глядя в кружку. — Не выпороли. Не выгнали. Повесили бы, барон, тут за одну кисейницу из королевского собрания — виселица, а он их четырёх взял. И я бы осталась вдовой висельника с мальчишкой на руках. Вот почему.

— Теперь мне понятно.

— Ничего тебе не понятно, — не согласилась Мавра без злости. — Тебе двадцать один. Тебе кажется, что если правда, то надо говорить. А правда, мальчик мой, она такая: скажешь — и всё, и обратно не заберёшь, и живи потом.

Я налил ей четвёртую.

Себе не стал.

— Что случилось на шестой год?

Мавра долго не отвечала.

— Кисейницы и случились, — выговорила она наконец. — Их было девять. Он взял четвёртую. И я поняла, что он их доберёт. Не сразу, по одной, но доберёт, потому что за них платят больше всего, и потому что он к тому времени уже не мог остановиться. Это, барон, как пить. Первые годы он с болота брал, дикого. Потом со дворов начал.

— И ты пошла к барону.

— Не к барону я пошла, — отозвалась Мавра.

— А к кому же ты пошла?

Мавра посмотрела на дверь. На пустой дверной проём, в котором никого не было, потому что Кеша с вечера ушёл к прогалине.

— К ящерице этой и пошла, — обронила она, кивнув на пустой дверной проём.

Я поставил кружку.

— Ты пошла к Ксаверию.

— К нему самому, — подтвердила Мавра.

— Но почему именно к нему?

— А к кому мне было идти? — с она. — К барону? Барон бы позвал стражу, и всё. Он мужик был неплохой, твой дед, но простой, как оглобля: узнал — доложил — повесили. А этот... — Она пожевала губами. — Этот всегда всё считал. Я подумала: он посчитает.

— И что он тебе ответил?

— Он меня выслушал, — отозвалась Мавра. — Молча. Ни слова не сказал, пока я всё не выложила. А потом говорит — он же в голове говорит, ты знаешь, — говорит: «Женщина, ты понимаешь, что просишь меня скрыть кражу из королевского собрания?» Я говорю: понимаю. Он говорит: «Тогда условия».

— И какие же он поставил условия?

— Условий было три, — отозвалась Мавра и загнула палец. — Первое: Хольт уходит. Не завтра — сегодня, ночью, и никогда не возвращается, и никто не знает куда. Второе: я остаюсь в доме и работаю в нём до смерти, и не за жалованье, а за то, что молчу. Третье...

Она замолчала.

— Мавра, что было третье?

— Третье — что он покроет недостачу сам, — договорила Мавра. — Чтоб в книгах сошлось. Чтоб никто никогда не спросил, куда делись четыре кисейницы и всё остальное.

Я очень медленно поставил кружку на стол.

— Восемь строк «внесено».

— Чего восемь строк? — не поняла она.

— В приходной книге восемь строк «внесено». Без пояснения. Общей суммой около трёхсот золотых, за сорок лет.

— Значит, восемь их было, — отозвалась Мавра и пожала плечами. — Я не считала. Он мне не отчитывался.

* * *

Я сидел и складывал.

Триста золотых за сорок лет. Восемь раз. Каждый раз — дыра в книге, которую надо закрыть, чтобы никто не поднял вопрос. Каждый раз — золото, которое он отдал.

А ведь золото было единственное за счет чего могут расти драконы. Кеша как-то вскользь упомянул об этом, но я тогда не придал его словам особого значения.

Я подался вперёд.

— Мавра, а он был большой?

— Кто у нас был большой? — не поняла она.

— Ксаверий. Когда ты пришла в дом, какого он был размера?

Мавра подумала.

И показала рукой.

Подняла ладонь вровень с притолокой, а потом отвела вторую в сторону, шагов на пять, и я сидел и смотрел на этот жест, и у меня по спине шло холодом.

— Вот такой примерно, — выговорила Мавра, не опуская рук. — Он через ворота не проходил. Ему в парке место расчищали, чтоб лежать.

— А сейчас он размером с лошадь.

— С лошадь, всё верно, — согласилась Мавра и опустила руки. — Он тает, барон. Всю жизнь, сколько я его знаю, тает. Я думала, они все так. Стареют и усыхают, как люди.

— Драконы так не стареют, Мавра.

— Я это давно поняла, — отозвалась она. — Годам к пятидесяти и поняла.

* * *

Я отставил пустую кружку.

— Он ушёл в ту же ночь?

— В ту же самую ночь, — подтвердила она.

— Ты с ним перед уходом говорила?

— Говорила, с полчаса, — отозвалась Мавра. — Он сначала не верил, что это я. Всё спрашивал: кто донёс, кто донёс. А потом понял и перестал спрашивать.

— И что он тебе сказал напоследок?

Мавра помолчала.

— «Ты меня убила, Мавра». Взял мешок и ушёл, — ответила собеседница и я заметил как дрогнули ее сухие руки.

— А ты что сделала?

— А я утром встала и пошла топить печь, — отозвалась Мавра. — Потому что Мартину девять лет было и его надо было кормить.

Она взяла кружку, посмотрела в неё и поставила обратно.

— Сыну я сказала, что отец нас бросил. Сорок лет он так и думал, и помер так думая. И это, барон, вот это самое — не то, что я мужа выгнала, а то что сыну соврала, — вот это я до сих пор ношу.

* * *

Мы молчали, наверное, минут пять.

За окном шёл дождь. В печи трещало. Где-то в глубине дома скрипнуло — дом был старый, он всё время скрипел сам по себе, и я к этому уже привык.

— Мавра, ты в первый вечер сказала мне, что осталась в доме, потому что тебе идти некуда.

— Так и сказала, было дело, — подтвердила она.

— А ведь это неправда.

— Это неполная правда, — поправила Мавра. — Мне и правда идти некуда. Но я бы нашла куда, барон, за сорок семь лет-то. Меня Овески звали, ещё старый барон звал, потом Дербен звал в лавку, у него жена померла. Звали.

— Почему же ты не пошла?

Мавра посмотрела на меня.

— Я обещала, до самой смерти, — отозвалась она, глядя мимо меня.

— Обещала Ксаверию?

— Себе я обещала, — поправила Мавра. — Ящерица бы меня отпустила давно, он уж лет двадцать как говорит: иди, женщина, ты своё отработала. Я не иду.

Она встала, собрала кружки и понесла к лохани, и я услышал, что голос у неё изменился — стал обычный, домашний, ворчливый, будто ничего не было.

— И вот что, мальчик мой. Я тебе всё это выложила не для того, чтоб ты меня жалел. Жалеть меня не надо, я в своей жизни всё сама выбрала, кроме того, что Мартин помер.

— Я тебя понял, Мавра.

— Ничего ты не понял, — не согласилась она, собирая кружки. — Ты сейчас пойдёшь и начнёшь его искать.

Я промолчал.

— Вот и я про то же, — заключила Мавра, унося кружки к лохани.

Свой вопрос я задал не сразу.

— Мавра, он жив?

Она мыла кружки и не оборачивалась.

— Не знаю я, жив он или нет, — отозвалась она, не оборачиваясь.

— Мавра, скажи мне правду.

— Это и есть правда, не знаю, — не уступила она. — Двадцать два года не знаю и не искала. Только...

— Только что?

— Только через восемь лет после того, как он ушёл, — продолжила Мавра, — Мартин заболел. И лекарь сказал: везите в Кальтен, там есть человек, который лечит грудную, но он берёт сорок золотых.

Я замер.

— И что ты сделала?

— А у меня их не было, — отозвалась Мавра. — И к ящерице я не пошла, потому что стыдно было второй раз. И я пошла к Дербену, и он мне дал восемнадцать под честное слово, и я сидела на кухне и считала, где взять остальные двадцать два.

Она поставила кружку на полку.

— А наутро под дверью лежал кошель, — договорила Мавра и поставила кружку на полку. — Двадцать два золотых. Ровно. Ни медяком больше.

Я поднялся из-за стола.

— Кто его туда положил?

— Не знаю я, кто, — отозвалась Мавра. — Может, ящерица. Он бы мог, он всё видит. Я его спрашивала. Сказал: не я.

— А может, это был он?

— Может, и он, — не стала спорить Мавра.

Она обернулась наконец, и глаза у неё были совершенно сухие, и от этого стало хуже, чем если бы она плакала.

— Мартина это всё равно не спасло, — произнесла она, обернувшись. — Тот человек в Кальтене взял сорок золотых и лечил его четыре месяца, и он всё равно помер. Так что, барон, я тебе так скажу: я двадцать два года не знаю, живой мой муж или нет, и не знаю, кто положил тот кошель, и мне уже, честно говоря, всё равно.

— Мавра, тебе не может быть всё равно.

— Всё равно, и не спорь, — отрезала она твёрдо. — А вот тебе — нет. И это твоё дело, и я тебе мешать не стану, ты хозяин.

Она сняла с гвоздя фартук и стала завязывать.

— Только Пимке про это не говори, — попросила Мавра, завязывая фартук. — Пока я жива — не говори. Он мальчишка хороший, но он сейчас в наёмники собрался, а если узнает, что дед у него был вор и что бабка деда выгнала, он от нас уйдёт не в шестнадцать, а завтра. И я его больше не увижу.

— Не скажу ему ни слова.

— Обещаешь?

— Обещаю, — ответил я и тут же понял, что только что взял на себя ровно то, что она несла сорок лет.

Мавра, кажется, поняла это раньше меня.

— Вот теперь ты в семье, — заключила она и отвернулась к печи.

* * *

Она ушла спать в четвёртом часу, а я остался в кухне.

Сидел, смотрел на две пустые бутылки и на штопку, которую она так и не доделала, и складывал в голове то, что теперь знал.

Складывалось скверно.

Егерь брал зверя шестнадцать лет. Мавра знала шесть из них. Дракон знал последние — сколько? И покрывал недостачу восемь раз. Барон, мой дед, не знал ничего и, судя по всему, до смерти считал, что кисейницы вымирают сами.

То есть в этом поместье двое из троих взрослых знали, что происходит, и оба молчали, и делали это из соображений, которые я положу руку на сердце, не могу назвать подлыми.

Я взял племенную книгу.

Открыл на чистом развороте и написал сверху: «Кисейницы. Ретроспектива».

И стал восстанавливать.

Девять особей на момент, когда Мавра пришла в дом. Четыре взяты Хольтом — по её словам, за шесть лет. Значит, осталось пять. Наша — девятнадцати лет, родилась здесь, значит, от кого-то из этих пяти.

Пять минус наша — четыре. Куда делись четыре?

Записей нет.

Я сидел над этим разворотом до рассвета и в итоге написал внизу три строки:

«Из девяти особей четыре изъяты егерем (свидетельство М., достоверность высокая). Судьба остальных четырёх неизвестна. Записи отсутствуют».

«Гибель вида не была стихийной. Вид был выбран».

И третью, которую потом дважды хотел зачеркнуть и не зачеркнул:

«В доме двести лет никто ничего не записывал. Это не халатность. Это, просто удобно».

* * *

Мавра встала в шесть, как всегда, и застала меня за столом.

Посмотрела на бутылки. На книгу. На меня.

— Не ложился.

— Не ложился.

— Дурак ты, — определила Мавра и пошла ставить чайник.

Потом остановилась.

— Мальчик мой.

— Что такое, Мавра? — отозвался я, не поднимая головы от книги.

— Ты вчера меня об одной вещи не спросил, — заметила она. — А я всю ночь думала, спросишь или нет.

— О чём я тебя не спросил? — уточнил я.

Мавра стояла к печи спиной и это было на нее не похоже.

— Ты не спросил, почему я не ушла из дому, когда узнала, — пояснила она, не оборачиваясь. — В шестьдесят шестом. У меня муж на виселицу шёл, если б открылось. Мне бы бежать надо было с мальчишкой, а я осталась в том же доме, при том же бароне, ещё сорок семь лет.

Я закрыл книгу.

— Я думал, что и так понял.

— И что ты понял?

— Что ты дала слово дракону.

— Дала, было такое, — подтвердила Мавра. — А до слова-то, мальчик мой?

Я молчал.

— До слова я три дня ходила и думала, — продолжила Мавра, гремя заслонкой. — И знаешь, чего я боялась? Не виселицы. Я боялась, что уеду, а зверьё-то останется.

Она обернулась.

— Мне их жалко было, вот и всё, — выговорила Мавра почти сердито, будто оправдывалась. — Дура старая. Своя жизнь под откос, сын без отца, а я стою на кухне и думаю: уеду — кто ж их кормить будет, барон, что ли? Он и не знал, чем их кормят.

Я сидел и смотрел на неё.

— Мавра, ты сорок семь лет держала этот дом ради животных?

— Я этого не говорила, — открестилась Мавра, отворачиваясь.

— Ты это только что и сказала.

— Я сказала, что мне их жалко было, — отрезала она. — Это разное. Чайник поставила, садись.

И больше к этому разговору мы не возвращались — ни в тот день, ни, кажется, вообще никогда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.